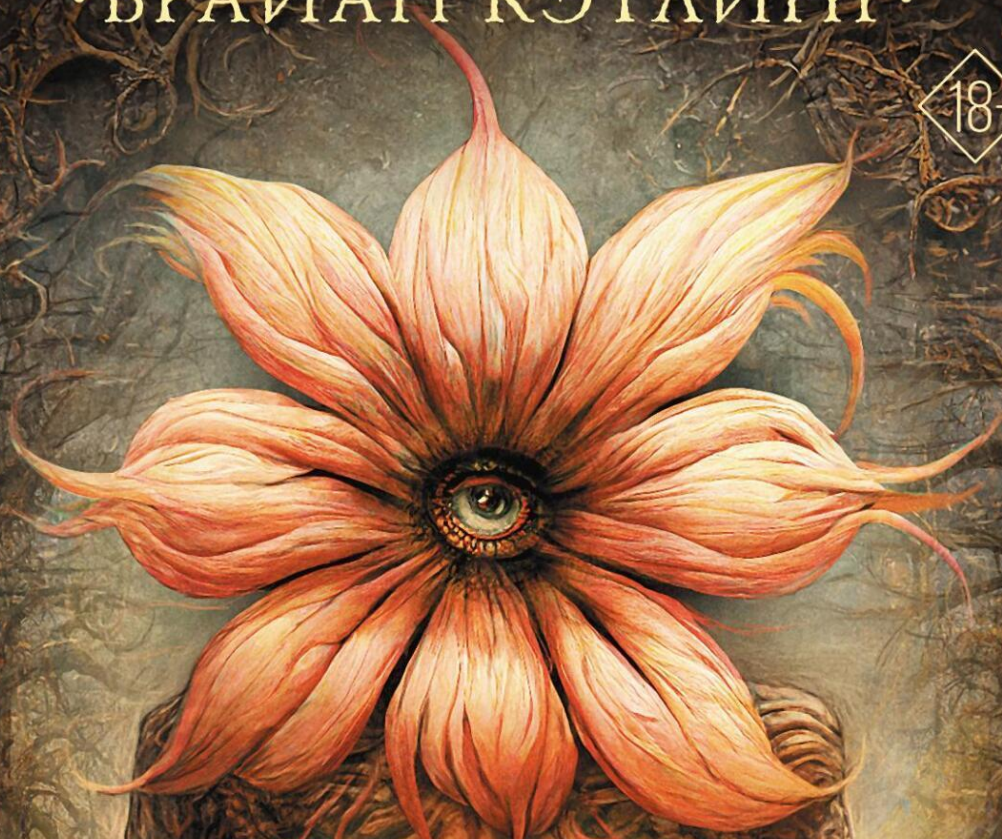


·БРАЙАН КЭТЛИНГ·

18+



ВОРР

Предисловие Алана Мура
Перевод с английского Сергея Карпова

ИНАЯ
ФАНТАСТИКА

Иная фантастика

Брайан КЭТЛИНГ

Ворр

«Издательство АСТ»

2007

УДК 821.111
ББК 84(4Вел)

Кэтлинг Б.

Ворр / Б. Кэтлинг — «Издательство АСТ», 2007 — (Иная фантастика)

ISBN 978-5-17-117426-2

Рядом с колониальным городом Эссенвальд раскинулся Ворр, огромный — возможно бесконечный — лес. Это место ангелов и демонов, воинов и священников. Разумный и магический, Ворр способен искажать время и стирать память. Легенды говорят, что в его сердце до сих пор существует Эдемский сад. И теперь бывший английский солдат хочет стать первым человеком, который перейдет Ворр из конца в конец. Вооруженный лишь странным луком, сделанным из костей и жил его умершей возлюбленной, он начинает свое путешествие, но кое-кто боится его последствий и нанимает стрелка из аборигенов, чтобы остановить странника. И на фоне этого столкновения разворачиваются истории циклопа, выращенного странными роботами, молодой девушки, чье любопытство фатальным образом изменило ей жизнь, а также исторических фигур, вроде французского писателя Реймона Русселя и фотографа Эдварда Мейбриджа. Факт и вымысел смешиваются воедино, охотники превращаются в жертв, и судьба каждого зависит лишь от таинственной воли Ворра.

УДК 821.111
ББК 84(4Вел)

ISBN 978-5-17-117426-2

© Кэтлинг Б., 2007

© Издательство АСТ, 2007

Содержание

Предисловие	7
Пролог	11
Часть первая	13
Конец ознакомительного фрагмента.	66

Брайан Кэтлинг
Ворр
Роман

Brian Catling
The Vorrh

* * *

This edition published by arrangement with United Agents LLP and The Van Lear Agency LLC
Copyright © 2007, 2012, 2015 by Brian Catling
© Сергей Карпов, перевод, 2023
© Василий Половцев, иллюстрация, 2023
© ООО «Издательство АСТ», 2023

Предисловие

Алан Мур

Брайан Кэтлинг – человек многих призваний. У Кэтлинга-поэта на фоне творческого ландшафта конца двадцатого века мрачно поблескивающим обелиском возвышается его выдающийся «Камень преткновения» (The Stumbling Block). Кэтлинг-перформер – явление стихийное и солидное, но в то же время граничащее с некоей алхимией, а Кэтлинг-художник, автор скрупулезных миниатюр циклопов, воплощает жуткие тотемные фигуры из своего личного пространства сна. У Кэтлинга-писателя в дикой и страстной повести «Бобби Шило» (Bobby Awl) чувствуется грубый, телесный шаманизм в воскрешении мертвецов по архивным фрагментам и забытым гипсовым посмертным маскам.

Все эти поприща, однако же, подчинены тому, что в первую очередь Кэтлинг – скульптор. Его поразительное произведение на месте бывшей плахи лондонского Тауэра – подушечка с аккуратным углублением, отлитая из стекла такого раскаленного, что оно потребовало бережного остужения в течение года, по градусу в день, – демонстрирует сочетание энергичного и подчас авантюрного владения материалом с глубокой, прочувствованной человечностью, типичной для его творчества. Ощущение каменной неподвижности в его перформансах – столь же скульптурное, сколь и яркое выражение творческого метода, лежащего в основе поэзии и прозы Кэтлинга, когда чувствуется, как для придания новой формы вручную месят эмпирическое сырье; когда чувствуется, как в ловких пальцах речь приобретает разные и удивительные контуры. Этот процедурный подход виден в сцене успешного создания предмета мысленной мебели в «Камне преткновения» или пронзительном призвании физического из уцелевших измученных черт исторического персонажа в «Бобби Шило».

Однако нигде обращение Кэтлинга с литературной глиной не раскрывается красноречивей, чем на неподдельно монументальных страницах «Ворра». Это представлено и во внушительном весе трилогии, и в искусной комбинации коры, металла, грязи и камня, из коих возводится здание в разуме читателя; и в мышлении тактильного ремесленника, которое обозначено первой же незабываемой сценой, повествующей о создании легендарного лука. Данную сцену в ее кратком изложении можно было бы принять за стандартный троп фэнтези и мифа, позаимствованный у Толкина, Робин Гуда или Рамы, если бы не материал для производства оружия. С первой же деталью сюжета заинтригованный и шокированный читатель понимает, что если это и в самом деле фэнтези, то весьма отличное от всего, что он встречал ранее в этом претерпевшем немало надругательств и якобы первобытном жанре.

Первобытным потому, что в этой области того, чего никогда не было, мы, возможно, находим самые истоки воображения как человеческой способности, а под немалыми надругательствами имеется в виду до абсурда ограниченная палитра концепций, которые ныне являются собой самые опознаваемые черты и маркеры фэнтези. Уже по определению своему каждый фэнтези-роман должен быть уникальным и самобытным – продуктом индивидуального видения и индивидуального разума, где специфика этого разума питает каждый атом нарратива. Жанр, низведенный халтурными стилизациями до узкого лексикона символов – волшебников, воинов, гномов и драконов, есть жанр, где нет места «Путешествию пилигрима» Баньяна – возможно, самой ранней приключенческой фэнтези-пикареске; «Путешествию к Арктуру» Дэвида Линдсея с его постоянно морфирующими пейзажами и преображающимися персонажами; выдающемуся циклу «Горменгаст» Мервина Пика и шелковистой «Глориане» Майкла Муркока. И это, бесспорно, есть жанр, не способный вместить в себя вегетативную вечность «Ворра» Кэтлинга.

Прошу отметить, это не означает, что сей лихорадочный эпик безжалостно избегает жанровых конвенций, вроде легендарных луков, пугающих чудовищ или, если на то пошло, таинственных лесов. Напротив, в пылких объятьях речи Кэтлинга и в контексте галлюцинаторного и изумляющего антуража произведения столь потенциально заново открытый материал с чужого плеча превращается в совершенно иную субстанцию, а эти не поддающиеся классификациям причуды теперь насилу укладываются во взнузданный и окостеневший жанр. Быть может, прежде мы уже и встречали в фантастической литературе зачарованные дебри, но тогда среди их разнообразных ипостасей не было современных торфяных болот Ирландии или джунглей колониальной Африки. И пускай ранее мы могли натолкнуться в произведениях на ангелов, они еще не бывали одновременно столь вознесены и столь пограны, как павшие Былые. Пусть даже это не так, но «Ворр» легко можно принять за произведение человека, который до сего момента не читал ни строчки фэнтези, – такова его потрясающая оригинальность.

Как и в лучших изводах этого скользкого и неуловимого жанра, невозможно погрузиться в хитросплетения и фантазмагии «Ворра» без растущей уверенности в том, что разворачивающаяся история имеет значение не только и не столько в собственных примечательных извивах и разворотах. Точно так же как ритуальный лабиринт Горменгаста столь пронизательно доносит до нас Англию двадцатого века, а Торманс Линдсея обращается к вопросам и сексуальности, и метафизики, так и в «Ворре» есть мимолетные намеки на мир устаревший и ушедший, радикально перебранный и переосмысленный в виде спекулятивной мысленной картографии грядущих территорий, высланных подлеском личной психологии. Бакелитовые химеры вызывают в памяти бесконечные сепийные жилища рабочих классов 1950-х, а сумеречная викториана навеивает настроение какой-то утраченной книжной «Детской сокровищницы», курорта в дождливые воскресенья, ярких гравюр с неправдоподобными бестиями, дервишами, убанги с тарелками в губах, мужчинами со старомодными ружьями. В эрнстовском коллаже разнообразных элементов и скульптурном ассамбляже в духе реди-мейда размашистый дебют Кэтлинга возводит из драгоценных и ничтожных обломков дряхлеющего прошлого литературу необузданной будущности.

Стоит отметить характерный подход «Ворра» к персонажу и ансамблю героев. Выкопывая малоизвестные, но правдивые истории из оправы реального мира, чтобы в новом свете представить их в своей аляповатой и глубокой мозаике, Кэтлинг дарит нам сцену, в которой Эдвард Мейбридж¹ – анатом мгновения – получает невероятную, но вполне реальную консультацию у сэра Уильяма Уитни Галла² – предположительного анатома Уайтчепела, – и историчность этих протагонистов ни на миг не выбивается из галереи одноглазых и угрюмых изгоев либо пугающих безголовых антропофагов. В замшелых пределах запущенного парадиза «Ворра» фактическое не имеет никаких привилегий в своих отношениях с фантастическим, они врываются на территорию друг друга – вкрадчивый ползучий кудзу переписывает память и открывает для вторжения закоснелое прошлое. Остается впечатление – как при чтении любого истинного образчика мифологии или романтики, – что эти невообразимые события в каком-то смысле обязаны были произойти или, возможно, каким-то образом происходят вечно, где-то под шкурой бытия.

¹ Эдвард Мейбридж (1830–1904) – английский и американский художник и фотограф. Один из создателей хронофотографии, разновидности фотографии, позволяющей записывать движение какого-либо объекта через съемку его отдельных фаз. Изобретатель зоопраксископа, устройства для проецирования фильмов, которое существовало до изобретения целлулоидной пленки и стало предтечей появления кинематографа. Практически все подробности биографии Мейбриджа, приведенные в романе, имели место в действительности. (Здесь и далее, кроме отдельно указанных случаев, примечания переводчика.)

² Уильям Уитни Галл (1816–1890) – английский врач, директор госпиталя Гая, профессор физиологии, президент Клинического общества. Вклад Галла в медицину велик, он расширил понимание таких заболеваний, как микседема, болезнь Брайта и нервная анорексия (термин для последней, *anorexia nervosa*, он и придумал). Был личным врачом королевы Виктории. Согласно одной из конспирологических теорий, Галл либо сам был Джеком-потрошителем, либо знал его лично, что и нашло отражение в графическом романе Алана Мура «Из ада».

Бесспорно, первая веха фэнтези нынешнего века, в одном ряду с лучшими произведениями этого жанра, «Ворр» являет нам обширный нематериальный организм, осыпаящий читателя семенами и спорами, тем торопя новый урожай и грозя новым великим восстановлением лесных зарослей воображения.

Утратившие смысл комедии нравов, разворачивающиеся в мюзях и полумесяцах³, автогероизирующиеся похождения в штампованных псевдосредневековых загонах – наши книги все более отстают от нашего же опыта и слишком узколобы, чтобы описать, объять или хотя бы поименовать текущие обстоятельства. В чащах оригинальности «Ворра» проложены новые тропы, а в зловещей пестрой светотени подразумеваются новые мировоззрения. Пока неизбежно ветшают и исчезают посеревшие уличные сети идеологий и образов мышления, ошеломительный труд Кэтлинга предоставляет нам как жизнеспособные альтернативы, так и содержательный побег вглубь этих тропических возможностей.

Он предлагает нам уйти в дебри.

Нортгемптон, 12 июня 2012 года

* * *

*Для Дэвида Рассела и Йена Синклера, которые вручили мне компас,
карту и мачете и настояли на экспедиции*

*Воскрешая в памяти те дни, не могу не вспоминать о том,
как поначалу трудно было задержать дыхание. Технически я делал
все правильно, но если следил за тем, чтобы при натяжении тетивы
плечевые мышцы оставались свободными, то невольно сильнее напрягал
ноги, как будто все дело было в твердой опоре и стабильной позе. Словно
я, подобно Антею, черпал силы от матери-земли.*

Ойген Херригель. Дзен и искусство стрельбы из лука⁴

*Энергия демонического – подчинения гению в самом буквальном
смысле слова «гений» – разумеется, гибнет вместе с отречением от
безграничного lebensraum⁵.*

Лео Фробениус. Paideuma. Umriss einer Kultur- und Seelenlehre⁶

*Неподалеку от этого дерева сидели, поджав ноги, еще два
костлявых угловатых существа. Один из этих двух чернокожих, с
остановившимся, невыносимо жутким взглядом, уткнулся подбородком
в колено; сосед его, похожий на привидение, опустил голову на колени, как
бы угнетенный великой усталостью. Вокруг лежали, скорчившись, другие
чернокожие, словно на картине, изображающей избиение или чуму. Пока
я стоял, пораженный ужасом, один из этих людей приподнялся на руках
и на четвереньках пополз к реке, чтобы напиться. Он пил, зачерпывая*

³ Мюзы – от слова mews, «конюшни». Формат двухэтажных таунхаусов с гаражом в переулках (впервые возник благодаря переделке бывших конюшен). Дома-полумесяцы построены в виде полумесяца.

⁴ Пер. Т. Заславской.

⁵ Жизненное пространство (нем.).

⁶ «Пайдеума. Очертания учения о культуре и душе». Лео Фробениус (1873–1938) – немецкий этнограф-африканист, автор теории «морфологии культуры». Согласно теории, не культура является продуктом человека, а люди – продуктом культуры. Культура – самостоятельный организм с мистическим началом, она же «пайдеума», или в переводе – «воспитание».

*воду рукой, потом уселся, скрестив ноги, на солнцепеке, и немного спустя
курчавая его голова поникла.
Джозеф Конрад. Сердце тьмы⁷*

⁷ Пер. А. Кравцовой.

Пролог

*Отроду скверное – не исцелить
Ни временем, ни горькою водой;
В свой срок все зло вернется нас казнить
Иль же незримо течь в крови гнильцой.
И там, где крепче горя тот оплот,
Поруганный свет зорь уж не забьет.*

Редьярд Киплинг. Молитва Гертруды

Отель был помпезен, грандиозен и инкрустирован мглой. Высокие барочные залы и коридоры свирепо осаждал яростный свет, отчаянно силившийся проникнуть за тяжелые занавеси и крахмальные формальности. Нумера Француза были лучшими в отеле, но унылыми и без того иллюзорного блеска, с каким порою дерзкая архитектура кажется естественной.

Француз стоял голым и съезженным в мраморно-стеклянной ванной – последние поблекшие поверхностные шрамы на шее и запястьях пульсировали красным, глубокая рана на одном запястье была зашита. Доза барбитуратов не помогла, и его дразнили полеты позолоченных купидонов и игнорировали порхания безразличных женских фигурок. Он стоял с членом в руке, стараясь не видеть собственного отражения в гигантском зеркале. Он был маленьким и преждевременно состарившимся. Усердие руки оставалось невознагражденным, а жилистый лиловый отросток был измучен больше его самого. Он не мог призвать себе в помощь какой-либо образ, чтобы заморозить и подстегнуть действие, хотя видел многое и воображал еще больше. Он знал, что в соседней комнате ждут Шарлотта – его *maîtresse de convenance*⁸ – и слуга. Он знал, что шофер наверняка привез ему для игрищ какой-нибудь цветок подворотен или доков. Он знал, что всем им столь же скучно, сколь ему. Он знал, что изобрел все в своей и в их жизни – а быть может, и во всем мире. Иногда казалось, ему приснилась сама реальность. Приснилась вне сна – ныне непрестанно бежавшего его.

Порой наркотик убаюкивал гложащий разум, возвращал в то самое место – но редко. Верная комбинация дозы отказывалась оставаться постоянной. Растущее количество меняющихся коктейлей выжимало его, но без вожаемых мягкости, помутнения. Он велел Шарлотте записывать все. Ингредиенты, пропорции, время. Ведь это место должно быть там – сокрытое в затвердевшем бульоне небытия. Ему нравилось воображать себя доктором Джекиллом, экспериментирующим с тайными снадобьями. Иногда он сомневался в способности Шарлотты вести точный учет. Она вполне могла легкомысленно ошибаться или лгать о дозировках. Те не производили желаемого эффекта. За последние дни он уже обменялся с Шарлоттой парой любезностей. Она заявляла, что делает все, точно как сказано, старалась успокоить своим раздражающим долготерпением. Но он-то знал, что она дурит его с типичной для хитрых слуг лукавостью. Некоторые вечера и многие утра заставляли его на полу, на четвереньках, уползающего прочь или навстречу тому, что душило его сердце. Он начал спать на полу. Стаскивал матрас, боясь свалиться с трясущейся кровати. Находил лекарство, ванную и снова представлял перед усмевающимся зеркалом.

Прошлой ночью на улице были карнавал и фейерверки. Музыка и веселье царапались в высокие окна. Утром снаружи моросило. Он слышал, как тихий дождь смыл сор и потухшее торжество. Привкус серы и нитрата в липком воздухе.

⁸ Букв. – «госпожа удобств» (фр.).

Он поднял глаза к зеркалу и усмехнулся. В позолоченной раме на месте стекла снова стоял Макс Киндер, голый и такой же, как он. Он поднял усталую руку – и Макс в совершенстве отразил движение. Вот великое изобретение этого комика: живое отражение. Номер, что будут копировать на протяжении столетия и долее. Он и сам часто копировал номера Киндера. Безнадежного франта, неспособного понять устройство мира. Уморительные жесты резкого шока и остекленелого любопытства вырезали первого постоянного персонажа комедии, украсившего новый мерцающий экран. Француз дернул за усы – и Макс повторил. Тогда Макс показал на открытую рану на руке – глубокую и бескровную. Он умер девять лет назад, на пике славы, в другом гранд-отеле, когда первой себя порезала жена, а он хватался за бритву в ее руке. Совсем другой зеркальный танец. Француз кивнул и отвел глаза, пока Макс цепенел и превращался в него и в стекло. Француз знал, что истощил свои воображение, богатство и либидо. Знал, что утратил драгоценный дар, но не знал, какой именно. Знал, что некогда был Реймоном Русселем⁹. Знал, что пустые чувства тоски и вины крепнут и не осталось ни денег, ни воспоминаний, не за что ухватиться. Факты не давались в руки, а выдумки стали избиты. Тогда он понял, что пришло время умереть, и умер.

⁹ *Реймон Руссель* (1877–1933) – французский поэт, писатель, драматург и музыкант. Автор романов «Впечатления об Африке» (1910) и *Locus Solus* (1914). В контексте романа надо отметить, что «Впечатления об Африке» действительно написаны Русселем исключительно на основе собственных фантазий. Он старался избегать каких бы то ни было реальных впечатлений о континенте. При жизни Руссель был практически никому не известен, большую часть своих произведений издавал за собственный счет. Тем не менее, его высоко ценили сюрреалисты, а в 1950-х годах началось настоящее возрождение творчества Русселя. Он действительно покончил с собой в Палермо.

Часть первая

*В их методе натягивания тетивы глаза вышли из употребления.
Выемка на середине плеч лука вырезается не фронтально, а наискосок.
Лео Фробениус. Лук, Атлантида, Голос Африки, т. 1*

Лук, что несу с собой в глушь, я сделал из Эсте.

Она умерла перед самым рассветом, десять дней назад. Увидела свою смерть, пока трудилась на огороде, увидела места между грядками, где уже не стояла, – вскрытие процесса на дневном солнце. Зайдя в наш простой дом и сняв соломенную шляпу – вернув ее в тень, на гвоздь в северной стене, – она подготовила меня к тому, что должно быть сделано.

Эсте родилась провидицей, и отчасти ее провидение жило в ожидании ухода – как бриз перед волной, перед штормом. Провидцы умирают в трех сгибах, снаружи внутрь. Подробности и положение каждого образования складок мне следовало прилежно выслушать и затвердить без паники или эмоций, ибо затем я принимал иную роль.

Мы распрощались в дни перед той самой ночью. Затем я отложил все чувства; меня ждали более важные ритуалы. Все это я знал давно. Они описывались, проистекали с самого нашего согласия быть вместе. Любовь и отношения росли в окружении стен, где сквозило из постоянно открытой двери этих требований, и потому я втайне учился отстранению и репетировал самообман одиночества.

Я стоял перед нашим прочным деревянным столом, ее кровь высыхала на руках, ее тело лежало, разделенное и разобранное на материалы и язык. Спина и руки ныли от трудов по разъятию, и я все еще слышал ее слова. Снова и снова звучащие спокойные указания, врезавшиеся с напевной настойчивостью, дабы снять как рукой мою забывчивость и скорлупу сомнения. Кровь залила всю комнату – но в это пространство не вторгалось ни одно насекомое: ни одна муха не смела испить из Эсте, ни один муравей не смел кормиться ее костным мозгом. В эти дни мы были закрыты от мира, а мой труд – решителен, бесхитроу и добр.

Все это она объяснила, когда я подавал ей завтрак в редкое дождливое утро. Черный хлеб и желтое масло словно таранились с тарелки, издевательски и пристально, фрукты пульсировали и деформировались, превращаясь в омерзительные капилляры и желудочки – и светились в своей невинности, если смотреть на них прямо. Я присел на краю кровати, слушая, как скользят и ладят с дождем простые слова Эсте, пока мой страх разжигал ими бикфордовы шнуры лютого гнева, начинившего мое безвоздушное скрытое нутро.

Я состругивал длинные плоские полосы с костей ее ног. Плел жилы и связки, растягивал мышцы в перевитые листы и перехватывал их льном, собранным Эсте в огороде. Из всего этого я сделал лук, перемежая фибры и волокна ее ткани, пока тугая дуга оружия сгущалась, сворачивалась и усыхала в предназначенных пропорциях. Я извлек ее бесплодную утробу и поместил внутрь отрезанные ладони, запечатав бесформенный шар, иногда двигавшийся на своем месте. Я обрил ее голову, вынул язык и глаза, сложил их в сердце. Закончив, я поместил эти безымянные предметы на деревянную сушилку у раковины. Они лежали в немом величии, сияя своей странностью, нетронутые преступным светом. На столе и полу остались лишь простые отходы. Их я бросил на потребу диким псам, когда оставил это место с распахнутыми дверями и окнами. Три дня я жил с ее выдумками и непригодными крохами, в воздухе, проникнутом ее присутствием, мускусным глубоким запахом ее масел и движений. Сноп ее плотных невымытых волос словно дышал и распухал на лучах солнца, подвигавшего комнату к вечеру. Эти известные ее части помогали сглаживать тревожные ароматы – суровое железо крови и жаркое насыщенное тление растворенных нараспашку внутренностей. На третий день

я схоронил ее сердце, утробу и голову в круглой ямке на огороде, которую она загодя выкопала своими собственными руками.

Я схоронил ее компас и накрыл его тяжелым камнем. Подчинялся без упрека, слез и слов, забрав вырезанную ею стрелу и в последний раз вернувшись в дом.

Лук удивительно изгибался, кривился и ровнялся с тем, как дни и ночи гнули и правили его контуры. В нем чувствовалось сходство с переменами в самой Эсте во время умирания, хотя тот переход не имел ничего общего со всеми смертями, что я видел или приносил ранее. У Эсте процесс отмечался тоской, исходящей вовне, – как сахар поглощает влагу, а соль ее высвобождает. Каждый час этих трех дней перестраивал Эсте с устрашающей и захватывающей разницей. Каждое физическое воспоминание ее тела – от детства и далее – всплывало к поверхности прекрасного стана. Каждый жест, эволюционировавший в грацию, теперь уходил к своему истоку, чуть ли не с радостью демонстрировал свою неуклюжесть, дергая Эсте за ниточки. Каждая мысль находила путь через кости и выдыхала волны тени с глубокого океанского дна, поднимаясь на солнечный свет и улетучиваясь, встречая наступающее гниение. Я не мог оставить ее. Я сидел или лежал подле, увлеченный и испуганный, возбужденный и привороженный нежным извержением процесса. В ее глазах то нарастала, то убывала память – от бледной прозрачности к высеченному огню. Она меня почти не замечала, но все же могла наставлять и объяснять строгость процесса. Тем она развеяла мои страх и боль; тем противостояла экстазу своего контроля. На вечер третьего дня в моих сновидениях забрезжила память. Та очистила наше время вместе, постоянство присутствия Эсте. Мы не бывали порознь с самого ухода из ее деревни за исключением тех странных недель, когда она попросила меня остаться в доме, пока сама дневала и ночевала в саду. Вернулась она исхудавшей и напряженной.

Теперь лук чернеет, становится самой темной тенью в комнате. Все неподвижно. Я сижу с двумя обернутыми стрелами в руках. От их резьбы пышет голодом и сном, забытыми отражениями моей собственной невозвратимой человечности.

Я тасую предвкушающую пищу из буфетов и с огорода, наполняя свои чувства вкусом и запахом. В комнате поднимаются цитрус и бекон, разворачиваются шалфей и томаты, зеленый лук и сушеная рыба. Жизненная необходимость стесала разлуку – теперь результат лишь осталось закрепить долговому сну без сновидений.

Утром в моих дрожащих руках лук и дверь, в зубах – стрелы. Настал тот самый миг, и я вырываюсь на ослепительный свет – древнее дерево всасывается внутрь и падает с искореженных петель. Натруженный, дом сдается, в знак капитуляции демонстрируя прежде невидимую убогость. Жара, обузданная светлым ветром, пробуждает меня навстречу миру и превращает съездившуюся лачугу в пустоту.

Я развязываю темные сухие листья со стрел, прижав лук к груди. Стрелы белые; бесконечная рассредоточенная белизна без намека на оттенок или тень. Они впитывают день в свои снежные глубины, и меня мутит от взгляда на них. Я поднимаю лук – который, должно быть, натянул во сне, – и налагаю одну из стрел на его контраст. Вторая свернута и сбережена напоследок. Между ними я сделаю много новых. Вот момент ухода, ее последний наказ. Я изо всех сил натягиваю тетиву и чувствую, как один этот жест ожесточает каждый мускул тела, чувствую предел напряжения, когда грация тетивы касается губ. При виде великого изгиба мир замолкает, даже ветер задерживает дыхание перед моей энергией и высвобождением. В первый и последний раз лук нем, не считая тихих поскрипывающих вздохов – эха моих упругих костей. Я направляю его в высь, перпендикулярно тропе, бегущей от нашего дома по низким холмам почти вертикальным шрамом.

Стрела спускается сама, исчезая в небе со звуком, чувственно пульсирующим во мне и во всех до единой частицах яви и нави, на виду и вовне. Я знаю, что больше никогда не увижу эту стрелу. Не ей быть путеводной; ту я сделаю иначе.

А первая белая стрела еще проходит спирали воздуха, остро чувствуя кровь ледяным наконечником. На миг я с ней – высоко-высоко над этой ноздреватой землей у моря и его бесконечно бьющихся волн внизу. Над жалкими деревнями и жестокими племенами, склоняясь к заповедному и темному лесу, таящему свой смысл.

Назад, туда, где я стою на тропе, оцепенелый, меня зовет боль. Внутренняя сторона руки обнажена, где по ней хлестнула тетива, сняв слой кожи с легкостью бритвы, с равнодушной волей. Стронувшись, я беру котомку и колчан, приноравливаю широкий шаг к луку на плече и отправляюсь вдаль, в глушь.

Этот край обезлюдел. Слишком много усилий необходимо, чтобы пересохшие поля родили упрямые томаты и пыльные карликовые дыни; это страна стариков, возделывающих свои клочки земли из привычной решительности – тикают в житейском ритуале последние дни часов, почти размотались со скрипящих колес гирьки. Нет молодежи, чтобы переставить часы, некому каждый день взводить колодец и орошать хищную землю. Молодежь ушла в города и к рабскому труду за границу. Они – под землей, добывают ископаемые, чтобы согреть других. Они – в ядовитых лачугах, плетут химический рак. Они – автоматы в окопах промышленности, коей без нужды характер, язык или семья. Они бесконечно пересчитывают скопленные средства для побега. Одни вернутся на поля, чтобы помочь старым и немощным поднять мятое ведро и заступ; иные тщатся вернуться князьями, скупая новые дорогие и безликие дома в плачевных селах предков. Таких постигнет крах, против них обратятся их дети и земля, усугубят содрогающуюся усталость. Протоптаные следы их потуг стираются под моими ногами, когда я иду по немногим населенным остаткам страны.

Уйдет три дня, чтобы миновать эти места, еще три-четыре – чтобы перевалить за низкие горы и оказаться на краю дебрей. Мы прожили здесь одиннадцать лет, исцеляя увечья и перемены нашего прошлого, прижигая рваные раны воспоминаний солнцем и пылью. Этот разоренный полуостров был щедр, и отчасти меня подмывает спланировать возвращение, хоть я знаю, что тому не бывать.

Жар дня напился весом, свет стал угрюм и чреват переменой. Тучи уплотнились и сгустились от внутренней тьмы; так рождалась вода – тяжелая и нестабильная.

Туземцы края зовут это дуновение болезненного ветра «бурасию»; ветра, который не дует, а сосет – его жаркое обратное дыхание выражается в движении, но не облегчении. Он играет с ожиданием, оживляя духоту, дразня засушливую землю запахом дождя, пока подземные водоемы, пещеры и каверны тянутся пустотой к небесам.

Потому мы здесь поселились. Эсте говорила, что уединение – лишь часть лечения, настоящему телу и духу могут оправиться и развиваться только над ульем из пустот. В таких местах слышны небеса и море. Их обширность и движения отдаются под туго натянутой землей, взбалтывают и прибавляют тьму в пещерах к тишине, к невидимым минеральным стенам. Она говорила о единстве подземных голосов – от скромнейшего колодца до просторнейшей пещеры-собора, – о том, что они подобны трубам разного размера в могучем органе. Органе, замысленном сотрясаться в фугах и фанфарах слуха, а не игры; где какофонии тишины служит контрапунктом одна лишь назойливая капель.

Эсте ведала, что все это влияло на крошечные физические и огромные мысленные и духовные пространства в людях. Я шагаю по поверхности смысла этих пустот и все думаю о том, как ее рассказ о чудесах падал на мои ошарашенные уши. Я думаю о ее голосе – таком близком, таком ясном, – и в шоке смотрю на истину ее костей и плоти в потеющей ладони.

В ночи далеко в море виден свет. Над горизонтом мерцают беззвучные дендриты шторма, разделявая под мрамор изгиб земли на своем пути сюда, навстречу ждущему рассвету. Я приютился в землянке пастухов на краю одной из самых нищих деревень. Террасы полей здесь стесаны, ограды поникли из-за хромой ветхости, и среди упавших камней и пожухлых растений выживание спорит с забвением. В этой вотчине ящериц, мух и кактусов признаки человеческой жизни стираются на глазах.

Землянкой как будто не пользовались многие годы, перелатанная мешковина на месте рудиментарной двери рассыпается в руке прахом. Эту нору выскребли из мягкого желтого камня – не больше, чем надо плюговому мужчине или мальчику и паре коз. Еще остались обломки: дальний конец пристанища перекрыт низкой кроватью или столом; несколько инструментов с трудовыми шрамами многих поколений; автомобильное колесо с облысевшей покрышкой; сухие пустые бутылки с налипшим песком и несколько потраченных дробовых патронов. На гвоздике висит фрагмент ржавых доспехов – сегментированный нагрудник крошечного размера. Настоящий ли это артефакт, раскопанный на месте какой-то неведомой битвы, либо часть карнавального костюма с одного из цветастых праздников, некогда обозначавших путь святого по году, – сказать невозможно. Горячая земля и соленый ветер протравили и протомили его до вида другого времени – времени, ни разу не пятнавшего человеческую память, слишком древнего для того, чтобы даже его представить.

Голая пещера одновременно казалась пустой и переполненной жизнью. Я свернулся в святости этого столь человеческого закутка и вкусил радость его простоты, приправленную моей внезапной усталостью.

В мой сон проникает гром. Он скользит меж пластами грез с грацией пантеры, его первый звук – не более чем шепот или вибрация. С каждой милей, что гром пробегает, он набирает звук и мощь, с каждой милей, что гром пролетает, он приучает мое сознание не реагировать: каждый новый раскат лишь на долю оглушительнее предыдущего. Его скрытое приближение поедает часы, и мои кошмары впитывают удары, пока он не оказывается прямо над головой и массивный грохот не потрясает землю светом; беспредельная белизна обрушивается на бледное утро с яростью, отвергающей всякое родство.

Деревня проснулась и кипит, люди мечутся из дома в дом, небеса разверзлись, и потоки дождя проливаются навстречу разнузданному аппетиту поднимающейся земли. Всего за минуты поля напиваются вдоволь и образуют озера. Улицы и тропки деревни бурлят ручьями и желтыми притоками стремнин. Селяне падают в эти омуты в великой суете деятельности. Раскатанная мешковина и джут устремляют половодье в колодцы и желоба, ведущие в другие цистерны. Чтобы направлять эту драгоценную бурю, импровизируются бревна и камни, даже предметы одежды. Розни и усобицы, в которых закоснела деревня, забыты – вода и ее сбор важнее крови и ее границ. Ливень нескончаем и злобен, селяне – решительны и мокры от грязи. Люди скользят и бегут, рывкают тем, кто млад, криком просят еще мешков, смеются и падают с теми, кто стар, кто чертыхается. В хлопоты вливаются закоренелые бирюки, хромают и кричат от восторга и смятения. Вся деревня превращается в грязевых существ, под дождем дребезжит хаотическая, целенаправленная мания. Животные наблюдают из стойл и дверей, удивленные и возмущенные энергией, водой и шумом.

Я не могу оставаться в стороне от этой цирковой воронки, так что осторожно прячу в землянке лук и другие пожитки – повыше, подальше от воды и зверей, – и бегу работать бок о бок с беззубым старцем, который строит плотину из камней и палок.

Его усилия бесполезны перед силой потока. Медлительность придает происходящему жалкую комичность, а стену опрокидывает каждые несколько минут, пока он продолжает ее методично наваливать, словно бы не замечая радостную воду и свою механическую тщету.

Вместе мы сумели обратить ручей, послать в угол двора. Он льется в пасть открытого колодца и падает в гулкую глубь с эхом брызг. Наблюдая наш невеликий триумф, я в мгновение ока осознаю, что в голове уже не осталось воспоминаний о кровотоке Эсте, картин крови из тела, – только расплывчатое пятно ее присутствия, иссыхающего где-то в комнате. Неужели окружающие звуки поймали то отражение, сжали происшествие в ладони памяти?

Старец тянет за рукав, и перед глазами все прочищается. Он взялся за очередной ручей и нуждается в моей помощи. Мы два часа вертим потоками, промокшие до костей, но довольные. Гроза проходит, дождь прекращается, и дымящаяся почва начинает высыхать. Птицы, не теряясь, шумно пользуются рыжими лужами, прежде чем те вернутся к праху. Поднимается насыщенное тепло, принуждая прекратить все труды.

Семья старца уговаривает присоединиться к ним в протекающем доме. Наш праздничный пир прост, но сердит: мы пьем терпкое красное вино из сухого и жесткого винограда и едим блюдо из жирного риса и темного мяса, тушенного в гранатовом соке, перемежая вкуснейшим хлебом с запеченным в корке черным луком. Царит веселье, мы разделяем тот язык нужды и алкоголя, когда свое и чужое забываются в возбуждении, а эмоция расшатывает всякий такт грамматики.

Старец ест, как в последний раз. Я походя отпускаю об этом шутку, и мне аккуратно сообщают, что в этом краю у дождей и стариков особые отношения. Ранее до меня доходили слухи, но в нашем уединении многое держалось в отдалении; контакт с соседними общинами был редок. Но весенний ритуал дождя – это правда, и хозяин объясняет его необходимость и премудрости его процедуры, заеда и запивая слова.

Старики, будучи все более неспособными к работе, – бремя их нищей экономики. Потому, миновав стадию полезности, они препоручаются воле весенних богов и на три дня ссылаются с едой и питьем за стены дома. В это время года дожди нежные и надежные в своем постоянстве – совсем не такие, как осенний ливень, который мы сейчас пережили. Старики сидят в молчании, зная, что в их положении разговоры и мольбы не помогут; лучше побережь силы. После отведенного срока они снова желанны внутри, возвращаются к своим тревожным постелям. Они понимают, что это более цивилизованное и мягкое испытание, чем было в ходу у их предков. В те далекие голодные годы стариков выводили на крутые утесы и оставляли самих искать путь домой, а боги пировали на их разорванных и разбитых останках.

В грядущие недели вымрет четверть стариков; ночной мороз, инфлюэнца или разные феномены божественного вмешательства. Оставшихся будут чествовать, потчевать и почитать еще год. Отец, вычищающий тарелку последним мякишем хлеба, пережил шесть весенних дождей и намерен пережить много больше.

Вечером я прощаюсь с семьей и возвращаюсь в землянку, где сплю мирным путешествием без снов.

* * *

Далеко к югу сумерки пробовали на вкус воздух. В невидимых полях, полных поднявшихся насекомых, юркали и петляли ласточки – неугомонные стрелы, мелькающие в янтарном свете. Один миг – черный силуэт, железный век. Следующий миг – птица ловит в выраже солнце, полыхает темно-оранжевым, бронзовый век. Так они резвились и вертелись в гарцующем времени: железный век, бронзовый, железный.

За ними следили желтые глаза одинокого черного человека, сидевшего на глиняном парашюте колониального частокла. Следили и оценивали расстояние и скорость, производя абстрактные расчеты на бесконечной странице неба – хладнокровное определение расстояния и траектории выстрела, которого не будет. На его коленях лежала винтовка со скользящим затвором «Ли-Энфилд» – оружие легендарной долговечности, в идеальном рабочем состоянии

и нетронутое чужой рукой с тех пор, как было вручено мужчине, когда подошла зрелость. Он до сих пор помнил, как в руки впервые лег солидный вес, как пахла коричневая промасленная бумага упаковки. Возбуждение от владения могло потягаться лишь с гордостью за то, что он стал членом полиции бушменов. То было сорок два года назад, и теперь Цунгали снова начал чувствовать, как тяжелеет старая винтовка.

И он, и оружие несли на себе клинописные шрамы и ссадины. Все они были прописаны. Пророчества и отвороты отмечали лицо Цунгали – талисманы против зверей, демонов и людей. Приклад «Энфилда» был зачарован против чужого касания и утраты, для точности и отваги; еще винтовка несла зарубки: двадцать три человека и три демона, с которыми она официально расправилась. Цунгали уже многие годы не сотрудничал с полицией или британской армией. Из-за Имущественных войн его изгнали из органов власти, и много крови тогда было пролито, чтобы убеждения сторон разделились навсегда. И потому он впал в замешательство и тревогу, услышав призыв в столь знакомое и любимое, как дом, место – тот самый лагерь, что на его глазах превратился в злой крааль врагов.

Они сами пришли к нему – не с войсками, кандалами и угрозами, как прежде, но тихо, поспав вперед мягкие извилистые слова о том, что он снова нужен. Они хотели поговорить и забыть преступления прошлого. Он чуял западню и принялся вырезать новые защиты, строить вокруг своего дома и участка жестокие физические и психические ловушки. Он говорил с пулями и кормил их, пока они не стали упитанными, зрелыми и ретивыми. С притворной послушностью ждал прибытия – которое оказалось спокойным, благородным и почти уважительным. Теперь он сидел и ждал, когда его препроводят в штаб форта, не зная, зачем он здесь, и удивляясь собственной покорности. Его шокировал родной запах, смутивший охотничий инстинкт. Отгоняя его, он стискивал «Энфилд» и пользовался ласточками, чтобы сфокусироваться до, во время и после встречи. Вливал их скорость в свое ожидание, пока темнеющим небом овладела яркая ярость звезд.

* * *

Я вершу свой путь ночью и выступаю из деревни засветло. Чуть позже тропа просияет из-за звезд иначе, полируя мили впереди горящей невидимой скоростью.

Я иду, словно в русле реки, между высокими стенами белого камня, – эта дорога выхолощена временем, погодой и непрерывным движением людей, кочевых, как птицы. Племена проходили и перепроходили одну и ту же балку, отчаянно проводя черту под вымиранием. С этим стадом призраков я и странствую, один.

Проходят часы, меня останавливает беспокойство зрения. Уже какое-то время я краем глаза замечал мелкие движения – рыбью пунктуацию, прерывающую твердые волны камня по бокам тусклыми бликами, что короче мгновения ока. Стоит встать, как феномен прекращается. Когда я продолжаю, за мной следует поблескивающий периферийный косяк. Сперва я давался диву, но теперь отдался волнению и страшусь чужого разума или галлюцинации. Пока нежеланны оба: я ищу лишь одиночества и отстранения, не желаю общения или интроспекции; мне необходимо понимать с ясностью одно-единственное измерение. Меня уже калечила сложность, и исцеление заняло слишком много лет. Я не вступлю на этот путь вновь и не разделю бытие со всеми теми, кто претендует на мою преданность и препирается за нее. Мне нужно только дышать и идти – но в это время ночи, в этой альбиносной артерии я слышу, как по пятам следует страх.

В руку просится лук – как посох, ненатянутый. В моей хватке Эсте отдает мускусом, и это химическое лезвие доходит до моего колотящегося сердца, тоже побелевшего, но не как камень. Оно касается моего разума, как ее язык, и я лишаюсь тревог и веса, готовый к атаке. Ничего не происходит. Я стою как столб. Через какое-то время слегка склоняю голову – вдруг

что шелохнется. Сперва – ничего, затем – проблеск, единственная крошечная искра. Я фокусируюсь на этом неведомом духе и двигаюсь к нему, как кошка на звук. Оно не в воздухе, но в белом камне. Я вижу, что оно вкраплено в свою библиотеку мелового периода. Его распалили звезды, и на краю теперь трепещет резонанс тусклого сияния. Это окаменевший акулий клык – инкрустированный в скалу гладкий клинок, с краями ожесточенно зазубренными и грызущими далекий небесный свет. Они испещряют камень сотнями.

Моя тень растрясла их свет, придав впечатление движения. Когда-то эти зубы высоко ценились и, помнится, служили небольшим приработком для местных жителей, которые колу-пали их и экспортировали в политические города, где зубы обрамляли серебром и вешали гроз-дями на миниатюрное барочное дерево. Оно называлось «креденца» – имя, ставшее синони-мичным с названием шкафчика, на котором дерево некогда стояло. Самые богатые и пышные принадлежали семействам Боргезе и Медичи. Когда гостя потчевали вином, его подвели к дереву, где он свободно выбирал клык и помещал в свой кубок, зацепив деликатной цепочкой за край. Если клык чернел – вино отравлено; если оставался незапятнанным, доверие к вину и хозяину подтверждалось и можно было переходить к делам и дружбе.

Я стою в черной ночи, размышляю о далеких шкафчиках и давно позабытой агрессии, о каменной реке из зубов, которые мне пригодятся; их компактная твердость и выщербленные края – залог превосходного наконечника для стрелы. Ближе к утру я вынимаю и зачищаю их, ищу прямое дерево для древка и охочусь на ласточек; их крылья станут моим оперением. Крылья годны лишь тогда, когда их срезают вживую, посему мне придется ставить силки, чтобы уловить птичью скорость.

* * *

Офицер ненавидел эту дыру, ненавидел силы, благодаря которым она так блестяще про-цветала в противовес всему разумному и упорядоченному. Дважды в неделю он снаряжался в форт, чтобы наладить там дела, прежде чем вернуться в центр одного из более цивилизован-ных городков. Он знал, что любой его план или порядок сработает с точностью до наоборот и что случится это не назло ему, но просто из-за процесса перевода, переговоров противополож-ностей – не поиска компромисса, но ритуализации бессмысленного диалога. Подобное раздра-жало, но доказывало, что мир устроен по меньшей мере двумя разными способами. Знай офи-цер, сколько поистине существует таких способов, он бы сбежал с поста в криках и вернулся в благочестие линейных городов – или даже к общим ценностям линейного окопа. Он пережил неумолимую войну и был вознагражден. Но командирование на другой континент оказалось библейской наградой: каверзной, слепой и окончательной.

Его нынешняя задача – идеальный пример того управления необъяснимым, неприят-ного столкновения с примитивными ценностями. Ему сказали добиваться своего убеждением и лукавством. Он предпочитал силу, но уже было доказано, что она здесь не действует и спо-собна произвести противоположный эффект.

Свидетельством тому были Имущественные войны, а возглавил кровавое восстание пришлый. Офицер старался не думать об этом – о погибших, о глупости, растратах и том факте, что в итоге ничего не поменялось. Он бы повесил пришлого за измену и убийство, за то, что предал вверенную ему ответственность, жестоко и напрасно променял ее на ошибку – дерзко замешал невежество с ветхими бессмысленными суевериями и вскипятил до волнения. В три дня мирная и покорная община превратилась в распаленную и разъяренную толпу. Церковь и школу сожгли дотла. Постоянных офицеров застали врасплох и зарубили, радиооборудование разбили вдребезги. Летную полосу и крикетное поле стерли, соскребли с лица земли. Нигде не позволили остаться ни единой прямой линии.

Когда прибыл офицер с тяжеловооруженной дивизией, их встретил убогий раздрай и разор. Все подаренное или достигнутое туземцы намеренно уничтожили, исковеркали обратно до состояния своей вонючей бестолковой истории. В центре резни стоял Цунгали, торжествующий и ликующий, в одних только мундире и кепи, нелепо вывернутом наизнанку. В его волосы были вплетены перья, кости и патроны, а зубы – вновь заточены.

Когда колониальные силы пришли впервые, они казались таинственными и могучими. Им прощалось невежество о мире. Количество необыкновенных товаров и образ их появления переполюшил Настоящих Людей. Их руки в опаске колебались и мялись над предложенными сокровищами. Дары нашлись для всех. Цунгали и его братья с недоверием и непониманием наблюдали за аттракционом щедрости, за бесконечным потоком невозможного: звериное мясо без костей в твердых блестящих панцирях, смертоносное железо великой силы и точности, радуги ткани, говорящие клетки, рой прочих вещей и сил без имени.

Когда чужакам дали позволение вырубать деревья и ровнять землю, никто не ждал последствий. Еще ребенком Цунгали увидел первых пришельцев в небе. Они плыли брюхом кверху, как дохлая ящерица в пруду, полосуя небеса прямыми белыми черточками. Цунгали спросил деда, кто они, эти кинжальные птицы с долгими голосами. Дед ничего не видел, ничего не слышал – небо было пустым, они не существовали. В его восприятии не нашлось подходящего шаблона. А если кто-то что-то и видел, то оно явно было родом из другого мира, а значит опасно, лучше не трогать. Шаманы говорили, что это сны еще не рожденных молодых отцов и что их растущая частота предвещает будущую обильную рождаемость. Никто не нашелся с объяснением, когда первая птица угнездилась на выровненной полосе в джунглях; просто незнакомцы имели великую силу, чтобы так просто ее заарканить. Цунгали ходил с дедом на просеку, рука об руку. Они торчали и тарасились на поблескивающую твердую птицу. Ее панцирь был таким же, как панцирь у мяса без костей. Старика билa легкая дрожь – он видел лишь просеку с хлопчущими чужаками. Их он различал, потому что они были людьми – или созданиями в людском обличье.

Возбужденное дитя шагнуло вперед, но осталось на привязи неподвижности старца. Тот прирос к месту, и любопытный внук не мог освободиться. Мальчику хватило ума не спорить – лишь слезы досады навернулись ему на глаза. Старик тоже плакал. Одна-единственная слеза кралась по шрамам на лице, через схемы созвездий и вырезанные карты влияний и владений. Жидкость без имени – она состояла из множества чувств и конфликтов, которые исключали друг друга, пока миг не наполнили одни только соль и гравитация и не сползли по его лицу.

Самолет был полон имуществом – больше, чем кто-либо видел раньше; изумительные вещи, благодаря которым молодежь чувствовала себя в силе и почете, выше любого соседнего неимущего племени. Еще самолет принес священника. В следующие годы чужаки расселились и привезли в деревню семьи и новую веру. Они говорили, что родом из разных земель с разными наречиями, но это казалось неправдой – как и многое другое, открывшееся позже. Наставляли они Настоящих Людей согласно укладу одного и того же мира – где бог стыдился наготы. Они научили, что те драгоценные вещи, которые раньше давались даром, теперь даст работа. Они привезли книги и пение, разменивали величие своего невидимого бога на духов, вырезанных из дерева и камня. И где-то в ходе этой подлой торговли в ткань доверия вплелось подозрение. Упор на всеобщую вину переводился в уме у племени в мысль, что Настоящие Люди уже за что-то заплатили – за то, что так и не получили, за то, что могло быть как раз имуществом.

Летная полоса поддерживалась в образцовом порядке, товары продолжали поступать. Опустевшие самолеты наполнялись позором разоренных домов. Их пичкали старым оружием, тканями, богами и кухонной утварью – жалкими тотемами развоплощенной истории в изгнании. Взамен жилье набили чистые картины, металлическая мебель и униформа – или так казалось.

Крикет, конечно, принесли англичане. Шестеро вырубili и выровняли полосу и назвали ее «питч» – тем же словом они называли тьму ночи и тьму Настоящих Людей.¹⁰ Сперва шестеро, затем больше – одетых в белое, совершавших таинства длиной в целый день, что не имели никакого отношения к приколоченному богу. Шестеро, что всегда будут одеты во тьму, показали, что Настоящим Людям навязана великая ложь. А кремьнь великого возгорания звали Питер Уильямс.

Его вымыло на берег много десятилетий назад, на обломке стола для сеансов № 6 – столешнице с сетчатой клеткой снизу, где лежали металлический клаксон и резиновая груша, маленький тамбурин и латунный колокольчик. Стол около двух лет назад расколола экстрасенсорная сила в мрачной гостиной в Галифаксе, Йоркшир. Случай вошел в историю – неприкрытому невидимому неистовству было много свидетелей. Обломок выкупила миллионерша Сара Винчестер, его как раз перевозили в ее американский особняк, когда злосключилось кораблекрушение.

Когда Уильямс очнулся, его вывихнутая рука еще цеплялась за дешевое лаковое дерево, два пальца были сломаны и застряли крюками в металлической сетке, пока сам он качался на прибое, за болевым порогом. Несколько часов спустя его, беспомощного, нашло на пляже племия, он метался в бреду, ужасаясь грядущему приливу и близкой смерти. Чужака перенесли в деревню, к жизни. Соль изъела его память, но ему казалось, что его зовут Уильямс. Тогда Уильямса спросили, что значит это имя. Он ответил, что не знает, но что он один из многих.

Легенда гласит, что в следующие пять лет племя ждали рост и расцвет. Ушла хворь, стала обильной дичь, а женщины выносили новое поколение мужчин – где многие пестрили светлым благословением Уильямса. А потом он исчез, растворился в краю забвения. Сказывают, земля позавидовала племени и возжелала своего собственного бледного двуногого. Сказывают, он был съеден или развеян. Он говорил, что один из многих, и теперь они ждали и молились куску стола № 6 о возвращении своего спасителя. Так рос культ Одноизоуильямсов, искупление и тоска обрели семью и имя.

Сара так и не приобщила проклятые орудия и расколотое дерево к своему бесконечному дому, завязанному узлом. Всеразрастающемуся деревянному осьминогу особняка предназначалось вместить неупокоенных мертвецов, изведенных винтовкой Винчестера; медиум сказал, что она останется в безопасности, пока не закончен ее дом.

Она отнеслась к этому буквально и начала стройку особняка, что рос вплоть до дня ее смерти. Две дюжины плотников пилили и колотили день и ночь, строили и перестраивали равно беспокойную архитектуру, чтобы уберечь от голодных призраков наследницу того, кто изобрел быстрое и длинное оружие, опустошившее равнины и наполнившее небеса и землю виновными и невинными. Привидения скреблись во все двери – даже фальшивые, поставленные Сарой, чтобы отвести их приход. Она проводила сеансы ежедневно. Лабиринт содрогался от перестука духов, дорогие паркеты стали липкими от эктоплазмы, тупиковые лестницы ныли вслух. Призраки и плотники замирали только тогда, когда Сара садилась за пианино – одна, поздно ночью. Эхо нот находило путь ко всем сплетенным пустым залам, по всем деревянным змеящимся коридорам, во все прислушивающиеся чердаки и башенки.

Ширился и алтарь, выросший из стола № 6. От долгого ожидания в него вбивались молитвенные гвозди. Бусы и колокольчики, молоко и кровь пели, взывали к духам, чтобы те вернулись домой и слились в одного материального человека по имени Уильямс.

¹⁰ *Pitch* – на английском это слово служит и названием крикетного поля, и употребляется в выражении *pitch-dark* – «кромешная тьма».

* * *

Он был похож на Бога. Грива неухоженных белых волос, длинная устрашающая белая борода и дикие дымчатые брови, сошедшиеся в схватке над пронзительными, беспощадными очами. Суровое мудрое лицо, повидавшее мир в резком свете, в отмеренных контрастах. Лик Лира, не пропускавший внутрь и наружу ничего, прежде не подвергнув радикальной строгости. Так он и хотел выглядеть – по-библейски, строго, внушительно.

Он исследовал дикую природу, выходил за пределы знаний проводников, валил деревья на нетронутой панораме, чтобы создать желанный вид, сжать в композиционный перевернутый кадр, собрать мир в жгучем свете. Он был с мертвыми и умирающими, видел в своей камере их глаза; однажды убил сам, в холодные мирные времена, вызвав свою жертву с попойки у серебряной шахты на благоуханный пейзаж, стынувший под полной луной.

– Добрый вечер, майор Ларкинс, – сказал он тому, кто шурился в дверях, пытаясь что-нибудь разобрать, так как говорящего озарял яркий свет. – Меня зовут Мейбридж, и это ответ на ваше письмо моей жене.

Он навел пистолет на грудь волокиты и выстрелил. Быстрая кровь брызнула на яркие подвижные листья октябрьских сумерек; жертва прошла весь дом насквозь на заплетающихся ногах и умерла в саду, обнимая дерево. Мейбридж шел за ним, извинившись перед картежниками, чьи руки застыли в неверии.

Но то было в Калистоге – на старом Диком Западе, в восточном округе Сан-Франциско. Год спустя обвинение в убийстве сняли: его оправдали. Всю жизнь он оставался оправданным, и даже сейчас, на семьдесят первом году, был не тем, кому перечат или в ком сомневаются. Он сломил разум жены-изменницы и с уверенностью Авраама презрительно отверг сына. Однажды он и был Авраамом – позировал для серии фотографий, прославившей его во всем цивилизованном мире: нагишом, с топором, с натянутыми мускулами и жесткими сухожилиями, строгий и непоколебимый в свои шестьдесят лет.

Теперь он стоял во весь рост в центре большого амбара в своей родной долине Темзы. Его ждали пятеро человек и лошадь, в раскрытые высокие ворота струился холодный воздух. Они тихо переговаривались, кивая в ответ на его указания. Один вывел лошадь наружу, другие заняли позиции в разлинованном интерьере. Стены и пол были выкрашены в черный – безупречно чисто и четко. В управляемую тьму вписали белые как мел линии – сетку координат, в рамках которой пространство стало застывшей концепцией, где отсутствовали фермерские запахи. Когда зажгли искусственный свет, тот соскреб все деревенское – шипящая яркость превратила амбар в фикцию. В Калифорнии все было иначе: фотокамеры внутри, яркое солнечное действие – снаружи. В дождливой Англии вся студийная жизнь шла только внутри – со временем именно так Мейбридж предпочитал вести дела.

Для этого дня его вызвало с пенсии правительство Ее Величества. Ему построили физический негатив предыдущей студии – где он фотографировал все, что хотел, без чужого ведома. Ради этих изображений его вытащили из смиренных лет, встроили оборудование в старый амбар, следовали всем его инструкциям и требованиям. Он даже настоял на масти лошади.

– Белая, чистейшей белизны, – говорил он им. – Желательно с развевающейся гривой.

Кое-кто из правительства говорил – втихомолку, – что это нарциссическая прихоть, что он хотел животное, похожее на себя. Но они ошибались: у фотографа на уме была другая лошадь – из стойла безумия и жестоких снов. Но то его дело, не их; он же был готов снять то, чего еще не видел мир.

Мейбридж взял пучок кабелей и кивнул двум людям в дальнем конце амбара. Один заложил пальцы в рот, другой вынул из полированного деревянного футляра нечто наподобие кузнечного молота. Мейбридж окликнул другого, малодушного, нервно переминавшегося у ворот.

Дан сигнал. Человек снаружи подхлестнул лошадь к панической рыси. Человек с пальцами во рту засвистал – серия рвущихся нот. Лошадь метнулась между ними в ослепительный бесплотный свет бездонного зала. Другой поднял железо. Гром копыт сотряс нарисованную сетку, лошадь ворвалась в свет. Затворы камер дергались в насекомьем бешенстве и дробили время. Из большого оружия в руках человека вырвался огромный и неожиданный огненный кулак, и последовавший звук проглотил все. Лошадь рухнула на подломившиеся ноги, взметнув тучу черной кружащейся пыли, бьющееся тело зарывалось в белую сетку и забрызгало стены из выходного отверстия в хребте. В предсмертных муках – которые, как и все прочее, показались одномоментными, – она свернула себе шею. Когда животное испустило последнее фырканье, камеры затихли и амбар захлестнула приливная волна тишины.

Все было неподвижно в оседающем воздухе. Скоро нервное новое электричество выключили. Сцена обрела драматизм в косых лучах из открытых ворот. Свистун и конюх надели комбинезоны и принялись чистить пол вокруг труп; стрелок убрал чудовищное оружие обратно в иконоподобный футляр, достал бордовый резиновый фартук, перчатки и ящик с ветеринарными хирургическими инструментами. Черная пыль еще вилась высоко в столбах дневного света, заливавшего амбар и придававшего божественную ауру действиям трудившихся. Мейбридж как будто остался совершенно равнодушен к кипучему потоку активности и занялся камерами, собирая их предыдущие мысли и унося с собой, чтобы отпереть в своей черной как ночь часовне химикатов по соседству.

Пистолет «Марс» Габбета-Фэрфакса был одним из первых в своем роде. Самозарядный полуавтомат с поразительной баллистической мощностью – он был похож на топор или молот, а рудиментарное «Г» его корпуса обладало уродливой, уникальной элегантностью твердой стали с тяжелым верхом, гладкой и лаконичной. Задний конец пистолета кишел от накатной хитроумной механики казенника, курка и целика. «Марс» предназначался для массового производства в военных нуждах, но пришел в мир навыворот и не вовремя. Он создавался с тем же соображением, что слало кавалерию на газ и пулеметы Первой мировой войны, в нем жила родословная средневекового поля боя: он мог остановить коня на скаку. Гремел, как конец света. Его отдача могла сломать запястье стрелку и плюнуть раскаленной гильзой ему в лицо. Расчетной кучности боя так и не достигли, потому что боец после первого выстрела так трепетал и вздрагивал перед тем, как вновь нажать на спусковой крючок, что прицелиться было невозможно. Это был самый мощный пистолет, задуманный и сконструированный на рубеже тех столетий, – но никто и никогда не хотел им пользоваться. «Марсов» выпустили меньше сотни. И как один из них, прячась среди «Энфилдов», нашел дорогу в сердце земли Настоящих Людей – неизвестно. Известно, что исчез он в то же время, что и Питер Уильямс.

* * *

У моих ног лежат бечева, щепки и невесомые осколки зубов с бескрылыми тельцами двадцати ласточек – их странные обтекаемые глаза глядят во все стороны. Форме глаз вторят крылья – те же крылья, что теперь украшают мои стрелы. Позади меня дыбится трепет моря, и горизонт закрывается створками тени. Я готов оставить эти мрачные рыхлые земли.

* * *

Цунгали расправил свое сидящее тело и бесшумно соскочил на ноги, подождав несколько секунд перед тем, как его вызовут. У длинных босых ступней в замедленном движении мутилась пыль. Он шел за солдатом, сопроводившим его в дверь казармы. Войдя, солдат схватился за ствол «Энфилда». Цунгали гаркнул то ли слово, то ли звук – помесь из множества свирепостей, перенятых у кошек и змей, птиц и ветров. Рука отскочила и повисла покалывающей пле-

тью у дрожащего бока испуганного рядового, словно пораженная током. Глаза Цунгали пробудили внимание офицера. Тот проглотил свое презрение и отослал подчиненного. Дрожащий солдат покинул помещение.

Цунгали вошел и почуял себя самого много лет назад – поток воспоминаний наводнил полости его прошлой нервной системы. Ибо так устроены те, кто каждые несколько лет сбрасывает жизни: у них остаются сдвинутые внутренние каналы, сохраняются в параллель нынешним, исправным; призрачные артерии, которые спят, съездившись, рядом с теми, что качают жизнь. Затихшие лимфатические сосуды – как тихий плющ вдоль бегущего сока настоящего. Деревья нервов – как костяной коралл, обнимающий шепот ревуших коммуникаций.

Старая часть Цунгали налилась сущностью прежнего «я», потеснила настоящее физическим дежавю, и в застывших внутренностях тела возникли два Цунгали, и оба не обращали внимания на застывшего по стойке смирно офицера, который пронзал вошедшего взглядом. Вентилятор на потолке месил сгустившийся воздух, вращаясь с сердцебиением крупного зверя и придавая ритм москитам, выстроившимся в очередь на пробу потной белой кожи офицера, который выдавил:

– Тебя просили явиться, – горло процарапали когти слова «просили», – по весьма особой причине.

Ночь и насекомые.

– Мы ищем того, кто может выследить человека; того, кому можно доверять.

«Доверять» покорило яйца и диафрагму.

– Того, кто обладает всеми нужными навыками, – воина-бушмена.

Даже офицер услышал свое снисхождение и запнулся об него, улучив момент внимательнее изучить человека перед собой. Тот был высок, но слегка согбен. Крепкий скелет часто ломали и чинили. Плоть и мускулы – жесткое темное мясо, податливое и натруженное, твердое. Кожа теряла свой некогда иссиня-черный отлив, блеск ее жизни припорошила слабо-серая молочность. Форма поношенная и переделанная, перешитая в другую версию – в ту, какой ее хотел он: противоположность своей функции единообразия и ранга. Ее синева блекла, сближалась в визуальной гармонии с кожей. Он выглядел как тень, а может, ею и был: статичная тень, отброшенная тем, что теперь творилось в его клокочущей сущности, прореха в ниспадающем свете, сплетенная из пространства во времени.

В эту паузу офицеру выпал шанс приглядеться к лицу Цунгали, теперь неподвижному – не от невозмутимости, нет, скорее оно походило на единственный кадр из бегущей пленки, выхваченный из смазанного пятна, в неестественном покое. Прошли годы с тех пор, как этот офицер стоял к нему так близко. Тогда Цунгали был в цепях, прикован к полу в зале суда. Свиристость его лица скривилась от дикой страсти движения и злобы. Теперь же оно формализовалось. Морщины скрученной ненависти стали одним целым с символами и хитроумными узорами – душераздирающими криками, выписанными осторожными глимфами. Неподвижное лицо корчилось в сбалансированной книге глубоких шрамов, иллюстрированном гобелене кожи – точь-в-точь лицо его деда. Точь-в-точь тело «Энфилда», что само стало резным нарративом.

Офицер уставился на полированный затвор ружья; полированный по причине не помпы или фетиша, а употребления.

– Откуда он? – спросил Цунгали. При звуке его голоса замолкли москиты, прислушалась комната.

На миг офицера вытряхнуло обратно, в непотребство предстоящей сделки, и он не сразу понял вопрос. Потом ответил:

– Он белый.

* * *

Измаил не знал, что он не нормальный человек, потому что нормальных никогда не видел. Добрые темно-бурые машины, направлявшие его от младенчества к отрочеству, от отрочества к юношеству, напоминали Измаила по форме, но отличались материалом. Он рос под их тихой заботливой опекой, зная, что он не такой, но даже не помышляя о том, что он чудовище. В его мире не было чудовищ – в мире глубоко под конюшнями старого города Эссенвальда.

Это был европейский город, импортированный камень за камнем на Темный континент и воссозданный на широком вырубке в периметре леса. Его строили полтора века, а ядро имитации теперь так постарело, что стало подлинным: перепады погоды породили новый вид подделки, подгоняя действие времен года с высокой скоростью тропической истерики. Многие старые дома доставили, пронумеровав для воскрешения каждый кирпич. Некоторые новые особняки и склады пользовались местным материалом и копировали орнаментальное осыпавшееся величие предшественников, добавляя оригинальный художественный блеск в скевоморфный образ ветшания. Город процветал, кипел и полнился движением, из его неистового сиятельного сердца разбегались каменные и железные дороги. Но только один путь полз в мрачные внутренности леса. В вечную массу Ворра.

Город питался деревьями, пожирал мириады различных видов, буйно произраставших в делях. В дневное время всюду жужжали и пели лесопилы и дровяные склады, каучуковые мануфактуры варили вещи из смолы, бумажные – кипятили и отбеливали догола тела, готовые к слову. Лес удовлетворял все эти аппетиты. Поощрял покусывать его опушки и пользовался этим как очередной формой защиты – малой в сравнении с арсеналом оборонительных средств, поддерживавших вечность Ворра.

Декларация силы и долгожительства Эссенвальда была написана на лабиринтовом манускрипте извивающихся улиц.

Один кривой проезд звался Кюлер-Бруннен¹¹ – рукописная табличка была прибита высоко на его бессолнечной стороне. На середине улицы стоял дом солидного возраста; его ядро привезли и погрузили в теплую почву одним из первых – на священном месте, что, по словам некоторых, старше самого человечества. Более поздние пристройки частями копировались в угленосном камне, добытом из давно закрытого карьера. Пропорции и местоположение дома украли у одного из ожесточенных городов северной Саксонии. Окна были затворены. Он тихо мрачнел, отводя любое внимание. В его маленьких опрятных конюшнях размещались три лошади, лакированный экипаж и рабочий воз. Брусчатка и солома придавали безмятежности внутреннего двора движение и запах, тогда как глубоко внизу, под синим и желтым, гудели бурые и хлопотали над белым, которое они растили. Воздух наливался запахом озона, фенола и легкой гари от разогретых тел: то был аромат жизни, мало-помалу идущей к треску и хрупкости, испуская собственный характерный гул, – точно так же, как наше старение сопровождается морщинами и рыхлостью.

Дом был пуст и доволен этим. Он считал, что уже много лет назад отошел от связей с полновременным проживанием. Для поддержания порядка его механически посещал обученный немногословный слуга. Тот, как и его отец, пользовался денниками и лошадьми и ухаживал за ними, и каждый вечер запирает за собой существование дома. Ежедневное использование отполировало яркие тяжелые ключи.

В сбалансированной и уравновешенной пустоте надземных помещений дома номер четыре по Кюлер-Бруннен не было людей. В подвале находился колодец поразительной глубины – дай ему небо, и он отразил бы в беспросветной воде самые далекие галактики. Но коло-

¹¹ Холодный фонтан (нем.).

дец оставался за пазухой, за шорами, под спудом твердого дома. В других комнатах внизу были машины в ящиках и прессы в запахах, упакованные бутылки и пустые заляпанные сосуды. Здесь тишина жила в согласии с пылью; ни та ни другая не опускалась. Старый темный дом всегда был начеку и стерег то, что происходило под ним.

* * *

Пещера была без света и без фокуса, красной. Ее пропорции расплывались остаточными изображениями из-за алой лампы, не освещавшей, но глотавшей любые следы нормального белого света или перспективы.

Непрестанно текла вода, и в густом воздухе, пропахшем уриной, целеустремленно двигался человек. Он вымачивал руки и стеклянные пластины в слепых емкостях с теплой жидкостью. Закрывая, тряс их, считая вслух, тормозил и будил под пустым красным светом скорбной лампы. Заканчивая, освобождал их и откладывал, давал стеклу обтечь досуха, пока готовил очередную порцию химикалий. Обработав, аккуратно помещал в проектор и раскрывал в виде света и тени на плоском горизонтальном экране. Искося вглядываясь в сфокусированную поверхность, его глаза почти касались изображения, выискивая изъяны и несовершенства: их не было. Очередная безукоризненная работа. Виднелись каждая крупинка пыли и плевок летящей крови – резкие белые искры на инвертированном черном фоне конской шкуры. Человек быстро перекрыл ток света и с чем-то близким к радости сдвинул под лампу чувствительную бумагу, снова пролил сияние. Поставил громкий будильник и поправил тщательно поддерживаемую температуру крови. Когда зазвенело, он собрал бумагу и утопил в полном лотке жидких химикатов, баюкал их взад-вперед, пока под пассами рук понемногу не возникла тень – тень мрачнее, чем что угодно в этой наглухо закрытой часовне, тень, которая становилась пространством вокруг зияющей бездны лошади.

Мейбридж перенес изображение разлившегося животного из одной емкости в другую и пустил плавать с ее товарками в циркуляции фиксажа. Вытер руки и вытянул навывпуск длинную белую бороду из воротника – ранее он заправил ее, чтобы не макнуть в химикаты и не испортить процесс. Отступил, с удовлетворением выпрямившись, и отодвинул засов перед напором мира.

Час спустя он выложил последовательность фотографий на длинном узком столе своей временной студии, примыкавшей к амбару. Когда Мейбридж шагнул назад, уступая место у своей гордости, над изображением сучились четверо.

Бегущая лошадь была расчерчена, расплющена до силуэта на шкале координат. Фотокамеры удалили звук и тошнотворное третье измерение. Теперь все можно было изучить вне суеты и воней факта. По плотной химической бумаге скакала краса. Лошадь – пока неслась, рухнула и умерла с благородством эстетики – стала классической и потусторонней.

Четверо в восторге вперились в отпечатки. Это были люди от мира механической точности, и линованная бойня доказала ценность нового устройства этого мира. Они собрали наглядные свидетельства, которые приведут к массовому изготовлению, и поблагодарили Мейбриджа на пороге его царства, воодушевленно пожимая ему руки.

Он закрыл дверь за ними. Миг размышлял в узком предбаннике меж комнатами о том, какой эффект чудовищный пистолет произвел бы на анатомию презренного майора Ларкинса, и о том, насколько ярче было бы последнее выражение его лица, ошеломленного от удивления и боли. Даже спустя столько лет фантазия потешила Мейбриджа. Еще больше его потешило бы, если бы любовника молодой жены развалило пополам у нее на глазах. Она умерла от месяцев молчания Мейбриджа после расправы над майором. Удар, говорили одни; скорбь – другие; но Мейбридж знал – причина в гранитной тишине, которую он запечатал в ней: даже после того, как жена ушла из дома, тишина все затвердевала и расколола ей голову.

Момент приятных размышлений перед возвращением к серьезному делу с негативами. Его армейские клиенты получили копии, но у него остались негативы – и собственные планы на изображения. На пике жизненных достижений он решил преследовать в своем творчестве иное качество: символического призрака, пронизывавшего все его фотографии. Решение вело к глубоким размышлениям и нарушениям личных принципов, но не шло из головы. Мейбридж был творцом, фотографом и изобретателем выдающейся важности – и это уже гарантировано, достигнуто вопреки всему. Последние же опыты будут принадлежать только ему, ответят на его вопросы. Он представил лошадь, что ни разу не касалась земли, или лошадь, что мчалась под землей, или ту, что преследовала его во снах, как привидение-простыня. Этот процесс, переборовший страхи, порхал в коридорах его сегодня и немногих оставшихся завтра. Движение, что он улавливал только уголком глаза своей камеры.

* * *

Измаил мужал. Его робкое белое тело крепло и перестраивалось для иной цели – хотя ему никогда не быть таким же прочным, как бережно воспитывавшие его бурые. Их тела были совсем иными, идеальными в блеске и глубине полированной поверхности. Каждый уникален – красивая вариация формы и назначения; он вечно дивился их величию, оглядывая рыхлую расплывчатость собственного панциря.

Со временем его все более и более интриговала Лулува; она не походила на других. Не потому, что была самкой. Это ему уже объясняли. В мире есть четыре вида похожих на него существ: мужчины, женщины, животные и призраки. Он мужчина – как Авель и Сет. Лулува – женщина, как Аклия. Но Измаил – из другого вида. У мужчин есть трубки и сила, у женщин – кармашки и нежность. У него – понемногу всего.

Впервые Лулува его распалила, когда убила для него животное. Переломив тело своими длинными блестящими пальцами, она раскрыла зверька и объяснила, что эти внутренности – копия его, состоят из тех же веществ, в отличие от ее, созданных из другой субстанции. Она описывала, что толстый мягкий покров сберегает тепло и что со временем подобный будет и у Измаила – и если он внимательно приглядится под лампой, то уже увидит крошечные следы поросли на податливой коже. Она протянула свою гладкую грациозную руку и продемонстрировала отсутствие этих «волос». Он зарделся, чувствуя стыд и неудачность своего склада. Ему хотелось задержать дыхание и втянуть все следы животного обратно в панцирь, хотелось, чтобы волосы съежились и глазировались, стремясь к ее идеалу.

Она уже объясняла, что в своей мягкости он может расти, распространяться изнутри, раздаваться. Она же была сформировавшейся и негибкой. Он не понимал – зачем ему к чему-то расти, когда уже есть она, безупречная? Лулува постучала по бурому панцирю и сказала, что ее кожа жестка и хрупка, а его – поддается касанию и лезвию, что они оба уязвимы по-своему. Он сделан из мяса, как звери, а она – из бакелита, как мебель.

Лулува двумя идеальными пальцами погладила его затылок, развеивая сомнения Измаила насчет своего места в мире, отличий и ее ласкового принятия. Твердость и холодок от прикосновения возбудили его и напрягли равнодушную мягкость к набухшей мимикрии. Она притворилась, что не заметила, и ушла от его шока, испуская волну тягучих щелчков и внутреннего шипения – звуков, которые он будет помнить всю свою спутанную жизнь.

Он поднял неловкий взгляд от коленей и смотрел, как она идет по продолговатой комнате. Поступь ее была целеустремленной, плавной и точной, словно все сотни миниатюрных подстроек, необходимых для движения и равновесия, осознанно продуманы наперед, внимательно просчитаны за доли секунд, что невозможно и вообразить. Он знал, что если сам будет так же думать на ходу, то упадет через пару шагов. Столь совершенный контроль недостижим для его нестройной и смехотворной моторики. Лулува была грациозна и постоянна, тогда

как он становился все более неуклюжим и случайным. Приливы чувств и извержения идей мотали его пестрое истекающее существо на непредсказуемых бурунах, вынудив изобрести себе в спутники сомнение, создать нервозность как зеркало для совершенства – хоть он и знал, что увидит в нем только себя, отражений других там не будет, они лишь молча пройдут мимо.

Иногда, когда он наблюдал за ними во сне, во время подзарядки, его завораживал их покой. Он садился очень близко к Лулуве и кому-нибудь еще и ловил глазами движение. Однажды Сет, стоявший позади, спросил, почему он так пристально вглядывается.

– Потому что мне кажется, что они мертвы, – ответил он без раздумий. Сет положил руку на плечо мальчика и издал горлом звук ротации. – Как животные, когда те сломаны, – сказал мальчик через плечо, не сводя глаз со спящей женщины. – Они целиком сделаны из движения, а если их сломать, все прекращается. Куда пропадает движение?

Сет присел бок о бок с мальчиком, наблюдая вместе с ним.

– Это правда, все живое движется, и движение есть жизнь. Правда и то, что мертвые не движутся. Но иногда движение спрятано в мелочах и кроется от глаз. Я тебе покажу.

Измаил перевел взгляд, чтобы следить за речью Сета, смотреть, как с беззубого рта спадают слова, сфокусироваться на дрожащем лоскуте, танцующем в челюстях.

Сет ускользнул к шкафу у противоположной стены и открыл ящик. Вернулся быстро, целеустремленно, со стеклянной трубкой длиной в свою руку и маленькой стеклянной воронкой. Снова присев, на сей раз меж Лулувой и мальчиком, один конец этой трубки он приставил ко лбу спящей, а ко второму примкнул воронку. Приложил палец к губам, зашипел и подмигнул. Мальчик понял уговор, они двигались скрытно, чтобы не разбудить ее. Сет приложил широкий конец воронки к уху мальчика, деликатно подведя трубку к уголку закрытого глаза Лулувы. И так застыл, в полуобороте наблюдая за лицом мальчика.

Сперва Измаил не слышал ничего, кроме собственного волнения. Затем – в трубке – раздался крошечный звук. Да, и снова – жидкое шипение, как слюна во рту, так слабо, словно с другого конца вселенной. Да! Вот снова – нерегулярно, но быстро и мерцающе, шепот пульса. Он отнял ухо от трубки.

– Что это за звук? – спросил он.

Сет посерьезнел и скромно улыбнулся:

– Это движется ее глаз. Под твердым веком, – он всмотрелся в мальчика, – Лулува видит сон.

* * *

Питер Уильямс поступил на далекий форпост сразу после сезона дождей. Его путь туда начался с зачатия. Простыня цвета хаки в темной сперме цвета хаки – его отцы три поколения носили винтовку и хоругвь. Сомнений никогда не было; быть ему солдатом. Со дня рождения до дня исчезновения перед ним всегда лежала лишь одна дорога.

В синейших уилтширских небесах сплелось великое желтое солнце. Рождение Уильямса было резким и легким, его сияюще-рыжая голова заскакала на теплом свете. Солнце всегда было его принципом, и он искал объять его.

Ему предлагали посты на выбор, и милее всего оказалось далекое захолустье. Он отчаянно хотел сбежать из Европы. Шрамы от удавки Первой мировой войны еще были свежими – если эти слова вообще можно использовать в одном предложении. Гниющие окопы врезались гангреной в сердце старых стран, сбившихся вместе, как старые девы в грозу, – что друзья, что враги. Он два года просидел в скользкой яме Пашендейля, где солнце не грело забытую богом землю. Коли дневной свет и был, то зараженный и тяжелый, густо висел на черных шипастых культах расщепленных деревьев – редких вертикалях в море грязи, дыма, мяса и металла. Единственный ясный свет, что он помнил, – свет несуществующий. Уильямс был одним из

тех, кто видел призрачные видения, плывущие над размазанными останками людей и мулов. Их нарекли Ангелами Соммы. Сиянье чистоты, выжатое из мерцающей скверны на пустошах. Он так и не понял, что видел на деле, но это помогло ему выжить и стереть из памяти невозможную реальность резни.

В возрасте двадцати трех лет он был готов к далекой стране жара и жизни. С момента, когда сошел с самолета на утрамбованную летную полосу, он ощутил удовлетворение, словно это место встречало его с улыбкой. Что-то в аромате джунглей и влажности, что-то в кишасей жизни, пульсирующей в каждом дюйме земли, успокаивало его. Возможно, экстаз противоположностей – или уверенность, что прежде увиденное не может повториться здесь. Что бы он ни вдохнул в тот день всей своей душой, оно только крепчало, когда он шел через поющий тропический лес в казармы поступью блудного сына.

Форпост лежал к юго-востоку от Ворра, в двух сотнях миль от города – и в двух тысячах лет. Племя, владевшее местностью, жило здесь с каменного века; их землей был перешеек в устье великой реки, бежавшей от моря, чтобы ее проглотил Ворр. Они же говорили, что все наоборот, что это сердце леса обливало и истекало водой, чтобы изобрести и поддержать море. Они звали себя Настоящими Людьми – и были ими уже вечность.

Возвышение Настоящих Людей привело к выживанию их расы и уничтожению их знания. Когда вступил в права двадцатый век, было сочтено необходимым и желательным сфокусироваться на развитии племени, особенно чтобы после долгого периода нищеты здесь процветал торговый речной маршрут. Три европейские страны насильно способствовали развитию аборигенов. Британцы последними присоединились к благородному делу и поучаствовали всем своим характерным арсеналом очарования, цинизма и вооруженного родительского контроля.

Форпост был многосложным предприятием. Когда прибыл Уильямс, как раз заканчивали крышу церкви – вплоть до безрадостного колокола для призыва новообращенных. Под ружьем было шесть профессиональных солдат, двое – с семьями; священник и десяток полицейских-бушменов, в возрасте от сорока двух до пятнадцати, заарканенных из самых значимых членов племени. Они очень серьезно относились к своим позициям. Что за порядок они поддерживали, оставалось под вопросом, ведь никакого свода формальных законов не вводилось, а предыдущие механизмы договорного существования быстро изживали себя. По крайней мере так полагали захватчики.

Во время Первой мировой Уильямс служил каптенармусом, и здесь тоже экипировал солдат и обучал новое полицейское формирование владеть снаряжением за пределами их ожиданий. Он прибыл с грузом оружия и амуниции, которые любовно доставал из солидных ящиков.

Пережитая безнадежная резня только доказала ему, что алчность, гордыня и слепота, вместе взятые, становятся механизмом ужасающих оборотов и что людей без воображения лучше держать в клетках и ежовых рукавицах. Ни разу за весь конфликт и бесконечность ран не угасли его любовь и интерес к оружию. Да, эти машины великолепных конструкции и исполнения служили только одной цели – но не они ее порождали. Он знал, что их единственное предназначение – отнимать жизнь – претворялось бы в любом случае, даже будь орудиями острые палки и тяжелые камни. Что там – он видел, как окопная война переходит в рукопашную схватку, когда штык становился слишком дальнобойным, а самодельные дубины и правленая сталь рубили мясо в скользкой слепой ярости. Если уж убивать, то убивать профессионально, точным орудием в опытных руках. Утешаясь этой логической неувязкой, он мог продолжать делать свое дело.

Он распаковывал ящик с винтовками «Ли-Энфилд», когда осознал, к своему удивлению, что это не старые запасы, как ожидалось, а партия новеньких блестящих моделей в отличном состоянии. Более того, поставка никак не проходила по бумагам. В партии встречались стран-

ные и необычные ящики, нигде не упоминавшиеся, и он просиял от удовольствия, от волнения при виде разнообразных сокровищ в этом месте на краю любого внимания.

Он плохо понимал местных. Их язык был непроницаем, пути – окольные, и, хотя их человечность бросилась в глаза сразу же, методы оставались сомнительными. Но его стало завораживать то, как они наблюдали не глядя, стал радовать их смех, как будто оторванный от происходящего, и интриговать их потрясение перед новыми предметами и жестами. Более того, любопытство спланило его с ними прямо пропорционально тому, как он отдалялся от прочих колонистов форпоста. Уильямс того не замечал. Ежедневная работа по демонстрации оружия и организации стрельбищ поглощала самоанализ и обнуляла глобальные сомнения. А инцидент с девушкой и ангелами довершил его отчуждение и припер к стене изоляции и угрозе трибунала.

* * *

Голландский священник был односторонним человеком – двигался только в одну сторону, вперед. Неустрашимый миссионер, он достроил церковь в рекордные два месяца. Каждый день ее наполняли верующие – или те, кто ими казался. Но в тот день, когда он стоял снаружи и робко заглядывал в стонущий зал, она казалась прискорбно пустой. Вокруг свежепокрашенных ступеней начала собираться кучка зевак – аномалию слышала почти вся деревня.

– Что случилось, падре? – спросил первый старший офицер, подоспевший к священнику.

– Одна из женщин, – отвечал он. – Она сошла с ума.

Лейтенант прошел мимо священника и раскрыл двойные двери, чтобы восстановить порядок. В церкви все еще пахло краской, дисгармоничная белизна дезориентировала. В проходе на полпути к алтарю стояла на коленях женщина в окружении книг, с раскрытым перед ней большим тяжелым томом. Она была голой и обильно менструировала. Из ее груди рокотал низкий нечеловеческий стон – звук, что слышится на расстоянии, из центра ледника, или смертельно близко, когда урчит лоснящаяся невидимая тьма большой кошки.

Лейтенант оглянулся на священника и понял его нерешительность. «Это всего лишь девушка», – сказал он, выдав самую большую ложь, на которую был способен, ведь тоже съезжил от страха. Тестикулы втянулись в тело, волосы встали дыбом. Это создание в церкви представлялось девушкой лишь в своих изгибах черной поверхности: сущность и действия его были не от мира сего. Все внутри этой девушки было совершенно чуждо современному образованному разуму, и оно переписывало законы явлений на наречие с неисправимым привкусом страха.

У входа в церковь столпились второй офицер и куча зевак. У первого офицера в руке уже появился револьвер, и он нес его перед собой, как распятие, готовый что угодно обуздать силой. Он видел дрожащее пятно. Звук разладил его, обращал в бегство. Он чувствовал страх собравшихся вокруг, его мочевой пузырь ослабел и подтекал. Нацелив свою трясущуюся защиту вдоль прохода на отвратительное черное помутнение, он зажмурился и сжал спусковой крючок.

Ничего не произошло. Боек ударил, но лишь по мякоти указательного пальца левой руки Питера Уильямса. Тот схватил пистолет и предотвратил срабатывание, вывернул вниз, поставив коллегу на колени в криках боли. Отнял пистолет и заправил за пояс. Взглянув в проход, он двинулся к девушке, присел рядом и закрыл книгу. Тишина настала моментально, страхи и содрогания тут же исчезли.

– Куртку, – сказал он собравшимся у двери.

Спустя миг куртку принесли и почти подали – бросили на последних футах. Он накрыл девушку и помог ей встать, затем медленно сопровождал из церкви, оставляя след крови на новом полу. Думал, что снаружи она уйдет сама или что ее заберут свои. Но этого не случилось. Против ожиданий каждый раз, когда останавливался он, останавливалась и она; когда двигался

он, трогалась с места она. Так они ушли из лагеря вместе и через тридцать минут углубились в буш.

Тогда-то он остановился, стирая пот с лица тыльной стороной ладони, чтобы посмотреть на нее. Теперь она была спокойна, без единого следа испарины. Подняв голову, взглянула сквозь него – глазами цвета опалов, яркими и пугающе ясными, устремленными в даль, которую он предпочел не замечать. Тогда она произнесла одно слово, словно не совпавшее с движением ее губ: «Ирринипесте».

Он не понимал, пока она не повторила. Он услышал слово в глубине разума, где обрелся старый мозг. Зацепилась только частичка, и он повторил ее: «Эсте».

Она кивнула и ждала. Возможно, его имени? Уильямс медленно назвался. На втором повторении она задрожала, потом затряслась. Он думал, что, возможно, ее опять охватят судороги; кровь текла по ногам с устрашающими темпами. Но она подобралась и пошла, потянув его за собой.

Они вышли на поляну с шестью-семью большими и богато украшенными жилищами. Шастали из-под ног куры, наблюдал за всеми и вопил павлин. Уильямс огляделся и хотел кликнуть живую душу, как вдруг появился старик. Его татуированные руки в браслетах протянулись к девушке. Она прильнула к нему и отпустила Уильямса. Оглянувшись, тот увидел, как между ним и ею стоит ее красота – отдельная, древняя, захватывающая дух.

* * *

Ярким солнечным утром я пускаю следующую стрелу. Изгиб оперения поет в энергичном воздухе над моей тропой из твердого камня, поднимающейся в далекие холмы.

С каждым шагом я словно выбираюсь из прошлого, поднимаюсь из плоской гравитации ожидания. Впредь воспоминания будут течь лишь вперед и ждать моего прибытия – как заведено во снах, которым они придают последовательность и движение. Точно так же прежде меня летят стрелы, чтобы прощупать бездну, распробовать ее цвет и поименовать ее случайности. Лук написал мое понимание всего этого высоко, прямым росчерком продолжительной траектории. То, что ждет во снах, когда я вступлю на новый отрезок пути, объяснится мне между перелетами стрел. Мое странствие между ними распутает знание, пока стопы проходят путь всех их прибытий.

* * *

Воскресным утром коренастый йомен Муттер закрыл за воротами дома номер четыре по Кюлер-Бруннен свои обязанности. Повернул ключ в пудовом замке, упиравшемся против запора, отчего Муттеру пришлось привстать на цыпочки. Просмоленная влажная сигара, зажатая в уголке небритых губ, перемежала его частое дыхание на холодном воздухе. Он возвращался домой, в роскошный разбухший мускус жениного обеда, и его внимание размазало между вчерашним шнапсом и насыщенным сном, клубившимся по ту сторону плотной еды; возможно, потому замок не слушался и он выронил ключи в ледяную слякоть.

– Доброе утро, Зигмунд, – протрепетал голос над его шарящими карачками. Он прокричал к вертикальному вниманию, чтобы ответить женщине, лучившейся улыбкой над кучей его тела в кротовьей шубе. Ее рост подчеркивался бежевым зимним пальто в пол, которое светилося вокруг нее: лучезарность обрамлялась шарфом с ярким узором, державшим широкополую шляпку на кудельной копне каштановых волос. Зеленые глаза сияли силой, вселявшей дискомфорт.

– Доброе утро, госпожа Тульп; нынче славный прохладный денек.

На миг они зависли между жестами. Улица, поднимаясь в холм, сужалась, сосредоточивалась от широкого колена для экипажей в горлышко крыш, труб – кривых и пытающихся подражать каллиграфии деревьев, горело-черных на фоне маренового неба. Высоко на загровке улицы виднелись часы, нерабочие и грубо покрашенные – из-за решения без истории. Как и циферблат, встреча внизу казалась равно онемевшей.

– Как поживает декан Тульп? – выпалил Муттер с гаркающей громкостью, разоблачившей желание уйти.

– У отца все хорошо, – любезно ответила она, зная, что может позабавиться с неполноценностью этого недалекого человека. С церковной площади вырвался ветер и прервал ее просчитанную игру, встряхнув тяжелую дверь так, чтобы она заметила незапертый замок.

– Передавайте благие пожелания вашей жене и малышам, – прощепетала госпожа Тульп. Муттер неуклюже моргнул, с трудом веря в легкость избавления. – И велите ей не волноваться из-за просроченной платы за дом; мой отец понимает, как тяжело приходится людям в это время года.

За сим он поторопился прочь, хлопоча побитой шляпой на перхотной голове и желая здоровья всей ее родне. Она осталась на пустой ветреной улице, пока ее интерес отчетливо дребезжал в скважине замка.

Главной задачей Муттера было приглядывать за домом и лошадьми – животинкой, которыми он с семьей пользовался по своему усмотрению, когда не возил ящики в подвалы под домом и обратно.

Каждую неделю он забирал пронумерованный ящик из склада в часе езды, доставлял к дому и заменял на использованный с предыдущей недели. Он понятия не имел, что внутри этих красиво сбитых и простых деревянных коробок, они его не заботили. Таков был его темперамент; агрессивно надежный, как у отца, и, если повезет, у сыновей. Не его и не их дело совать нос в предприятие, обеспечивающее им достаток и занятость последние восемьдесят лет. Так или иначе, подобный интерес был недоступен его классу. Воображение – неизбежно разрушительная деятельность на службе у тех, кто состоит в услужении сам.

Коробки были разного веса, и изредка он брал с собой одного из сыновей, чтобы помочь с самыми тяжелыми. Мальчикам полезно увидеть и понять дом, чтобы в будущем повторять свои обязанности и стеречь тишину. Они знали здание с того самого момента, когда учились ходить. Мальцом Муттер тоже стоял за ногами отца, пока открывались ворота, пугался размера лошадей и сочности их запаха, очаровывался покоем высоких пустых комнат, всегда ожидая, что появятся хозяева. Но их не было. Он ни разу не видел внутри ни живой души, потому что дом пустовал. Ключи имелись только у отца.

Однажды, когда ему было двенадцать и он ждал на кухне, болтая ногами на высоком стуле, ему показалось, он видел что-то в противоположной стене – бурую лакированную тень чего-то скрывшегося из поля зрения. Даже тогда он уже подспудно понимал, что ему не по рангу это видеть, и потому избавился от воспоминания и никогда о нем не заговаривал, особенно с отцом.

Теперь он был в той же подвальной кухне, опасливо волочил ящик к средней стене, где за панелью лакированного дерева скрывался кухонный подъемник. На кухне господствовал прямоугольный мраморный стол, занимавший свой объем с достоинством предназначения. Раньше он был в фокусе всех кухонных работников, обстрипывающих дом или отдохавших и ужинавших в конце дня.

Муттер с одышкой поставил ящик и выпрямился, уперевшись в холодный камень и утирая мокрое красное лицо полотенцем, которое всегда держал сложенным у отъезжающей стенки. За годы он отточил технику подъема и приема ящиков из внутренностей лифта, но теперь это становилось все труднее. Не из-за слабости, но из-за медлительности, как будто разъедавшей его энергию, как пламя – воск свечи. От образа холодной желтушной лужицы,

скопившейся в белом блюде с поникшим и тонущим фитильком, по его грузному телу пробежал холодок. Он подобрался и взвалил ящик в подъемник с гулким грохотом, проглоченным глубиной шахты, уходящей глубоко под пол. Лифт работал наоборот. Вместо того чтобы обслуживать комнаты наверху, как полагается, он отправлялся вниз в самодостаточную и замалчиваемую часть дома. Муттер всегда предполагал, что странный лифт как-то связан с колодезем, который должен был находиться здесь и который дал название дому и улице.

Муттер закрыл дверцу и задвинул панель на маскирующую позицию. Вытащив из помещения легкий использованный ящик, он медленно затворил за собой дверь, на миг помешкав, пока не услышал скрип лифта на долгих толстых веревках.

Он прислушался – не из любопытства, что было бы непозволительно, а из чувства наступающего удовлетворения. Его долг и дело снова исполнены.

* * *

Ящики были педагогической библиотекой. Каждый содержал отобранные наглядные образцы внешнего мира: для объяснения предоставлялись структуры, материалы, животные, орудия, растения, минералы и идеи. Некоторые экземпляры – консервированные, в банках; некоторые – свежие, даже живые. Попадались там и фотографии, распечатки и репродукции.

Родичи – так они промеж собой называли друг друга – открывали ящики вдали от ученика. Заглянув внутрь, замолкали и коченели. Ему казалось, они прислушиваются к указаниям или активируют свою память. Но никакого голоса он ни разу не слышал – только протяжный пронзительный свист.

Они объясняли Исмаилу чудеса по очереди, иногда специализируясь на конкретных темах. Авель описывал материалы и процессы; Аклия объясняла растения, минералы и почву, где они росли, а также сопутствующих насекомых; Сет демонстрировал инструменты, разыгрывал историю или показывал изобретения; Лулува растолковывала животных, как они устроены и к чему пригодны.

Внутри большого ящика всегда находился маленький. Этот доставали и изучали на кухне, а затем превращали в еду для Исмаила. Он любил слово «кухня»; заучил его одним из первых. Оно значило питание, благоухание и тепло, он чуял его звучание задолго до того, как чувствовал его вкус. А еще это слово казалось очень странным в чужих ртах. Исмаил, весь внимание, следил, когда его произносил один из них. Это, сколько он помнил, было первое, что его рассмешило, – он сам не знал почему, просто из-за их реакции. Почему-то, когда они пусто устались в ответ, стало еще смешнее.

Они смеялись лишь раз – через несколько дней после того, как он им показал как. Они наблюдали за демонстрацией с таким тожественным вниманием, что натужный смешок превратился в полноразмерный хохот. Но когда они вернулись и рассмеялись для него, это было ужасно. Он не мог объяснить почему. Просто неправильно – режущая противоположность того, что чувствовал и слышал он во время своих спонтанных приступов. Они репетировали для него, ради него, чтобы поддержать смехом, но им не хватало глубины традиции. Такого в их ящиках не было. Они обещали больше не пытаться. В ответ он обещал больше никогда не кричать, не плакать навзрыд.

Их забота и нежность лучше всего выражались в действии, движении и прикосновении, в мягком предоставлении знания, общества и еды.

День, когда Лулува показала, как его тело может продолжиться в ее и произвести нектар, ошеломил. Она закончила урок о мухах, и он задал вопрос о том, что она называла «удовольствием». Он знал, что это как сухой белый «сахар» или густой желтый «мед» – не снаружи или на языке, а везде сразу. Она сказала, что у его вида много способов обрести удовольствие и все они связаны со знанием. Она сказала, что удовольствие сделано из сливок, как ее мотор.

Несколько недель назад Авель показал ему одну часть их тела – изогнутую полость бакелитового панциря. Их внутренность была во вмятинах и отметинах извилин, углублений и канальцев. Всю поверхность покрывали бугорки – очень непохожие на гладкое совершенство их блестящей внешней стороны.

– Мы полые, внутри нас только жидкость, – говорил Авель, – в отличие от тебя и других животных, напичканных тканью и органами. Мы устроены иначе. Все наши силы хранятся в густом креме; все, что мы есть, живет в этом креме, питается им и говорит с изнанкой нашего панциря через эти сложные желобки и схемы, – он показал на тыльную сторону фрагмента в руке. – Мы не понимаем их действие, нам запрещено интересоваться и изучать процесс. Гораздо больше мы знаем о тебе, чем о себе.

Измаилу хотелось знать об удовольствии больше, и он потребовал у Лулувы описания. Она сказала, что словами это не передать.

– У твоего вида есть связь между размножением и сладостью – ваше возбуждение устроено, как магниты в уроке 28. Оплодотворение следует тому же конструкту.

Он хотел больше.

– Да, – сказала она. – Пора тебе показать. Ты как животное, которых мы видели: чтобы размножаться, ты должен поместить свою трубку в кармашек самки. Затем семя оплодотворяет яйцеклетку. Это тебе известно. Но ты узнаешь, что это действие пронизано удовольствием.

Измаил понимал слова, но не их значение.

– Когда ты выпускаешь семя, – сказала она, – звучит великая песнь тепла.

Он смотрел и прятался в себя. Она прильнула к нему. Твердая блестящая рука поглаживала его бедро. Жесткость панциря вызвала эрекцию.

– Я покажу тебе, что создана по подобию твоего вида, чтобы объяснять эти чудеса. Эти уроки о людях преподали явно только мне – для тебя.

Она показала ему застежку в складке между ног, обычно скрытую от глаз. Попросила растянуть ее, и он нащупал механизм этого секрета трясущейся рукой. Через какое-то время она присоединилась, ее ловкие пальцы спустили бегунок по всей длине, раскрыв долгую расщелину.

– Коснись внутри, – сказала она.

Тепло и мягко. Он пригляделся, запустив теперь и ладонь, шаря пальцами в складчатых слоях.

– Ламинария, – сказал он. – Это сделано из ламинарии, ламинария была в уроке 17. Банки из моря.

Если бы она могла улыбаться, то улыбнулась бы. Взамен погладила его по голове и сказала:

– Нет, но очень похоже. Этого материала ты еще не видел, – она надавила на морщинистую грушу, и его осязание залила влага.

– Ты течешь, как я, – сказал он. – Как я и животные. Раньше так не было.

– Это не одно и то же. Это не жидкие отходы, но особая смазка, позволяющая тебе двигаться внутри меня без трения и боли.

Уложив навзничь свое тело, она направила его к себе и с той же внимательной концентрацией, с которой препарировала животных, ввела в себя. От ее внутренней хватки Измаил поморщился, но она исправила это, надавив левой рукой на его копчик и издав свистящие щелчки, объявлявшие удовлетворение, – с теми же звуками она радовалась, когда он схватывал другие ее уроки. Его захлестнула растущая волна приторной победы, и он начал вдаваться глубже. Его руки вцепились в жесткий идеал изгибающихся бедер – в контрасте с ним жаркая внутренность казалась чудесным благословением.

Это отличалось от всего, что она ему показывала. Понимание проявилось во всем теле, бурлило от сахаров, наделивших его прямой силой, о которой Измаил раньше и не мечтал. Он

почувствовал мощь и господство, и невозможную радость отступления, пока она скармливала его пугливое детство прошлому. Они двигались вместе, и он восклицал – всхлипывающее удовольствие в ее объятьях, бумеранги чувств с постоянной энергией. Внезапно она затряслась, содрогаясь каждым суставом, насаживая голос на разболтанность звука. Такого с ней еще не было, и она не знала цели или значения процесса. Только Измаил знал, что один из ее внутренних желудочков излился напрямую в шунтовый механизм сна и режима перезарядки, переключился на абсолютное восприятие, пока Измаил реверберировал рядом с ней, так что она включалась и выключалась с быстрым мерцанием сознания и забвения, производящим в ее старом рабочем теле из соков и резьбы нечто вроде удовольствия, скроенного из удивления. Пока в силе правило Родичей, ей не осмыслить собственную реакцию. Эта тайна была доступна пониманию лишь одного Измаила.

* * *

Всему виною были ангелы. Священник долго толковал о них с девушкой, однажды более часа. Он объяснял, что сами они не боги – как и множество кланов духов, ранее наводнявших их верования, – а крылатые слуги, посредничавшие между богом и человеком. Ошибкою стало показать страницы «Потерянного рая» – большого издания с великолепными иллюстрациями Гюстава Доре.

Он показал ей ангелов; иногда попадались и демоны. Это было ничего: ей понравились все, особенно с расправленными перед полетом крыльями. Потом они дошли до страницы об Адаме и Еве в саду перед падением; книга пятая, 309–311.

Адам воззвал к жене:
– Спеши, о Ева! Посмотри на нечто,
Достойное вниманья твоего:
С востока, из-за рощи, к нам идет
Созданье дивное. Как будто вновь
Денница в полдень вспыхнула! Посол,
Возможно, с вестью важной от Небес
Явился, и возможно, гостем он
Сегодня будет нашим.¹²

На сопутствующем изображении была пара под деревом. Она – на камнях спиной к читателю, он – перед ней, показывая вглубь картины, откуда к ним направлялась ангельская сущность. Поблизости, уравнивая сцену, были два оленя – один возлежал с мирным, но бдительным львом. Пейзаж цвел буйным цветом; трава и растения на первом плане придавали изображению яркую, шершавую реальность.

Иллюстрация произвела на туземку жестокий и ошеломительный эффект. Она тут же утратила вид небрежного интереса, вскинулась и оцепенела. Затряслась всем телом, широко распахнув глаза, словно бы истязаемая пытками чрезвычайного ужаса. Начала срывать с себя одежды, стонать и драть ткань, пока не оголилась и не стала откровенно пугать, испуская острый запах пота; голос стал глубже, распространял волну заразного ужаса. Тогда она и начала кровоточить. Священник одновременно испугался и смутился. Она периодически ловила его взгляд, хлеща наружу как кнутом обращенным внутрь фокусом, пока наконец его не переполнили страх и стыд. Отвращенный каждым элементом сцены, он сбежал из церкви.

¹² Пер. Аркадия Штейнберга.

После возвращения из джунглей атмосфера в лагере стала невыносимой. Прибытие Уильямса пустило почти видимую рябь энергии; местные мгновенно замерли, потом отвели лица, потупили взгляды на землю или то, что было у них в руках. Один из самых подобострастных рекрутов побежал в офицерский клуб; другие следовали за ним поодаль, чтобы посмотреть, что будет.

На веранде де Траффорд, командир части, расправил плечи перед белолицым подчиненным и показал на дверь. Они молча вошли в офицерский клуб. Скоро краткая тишина уступила оглушительным крикам и еще более громкому молчанию.

Гнев Уильямса скрутила строгость иерархии. С лицом из камня он слушал, как де Траффорд плевался выговорами за подрыв покорности среди туземцев, винил напрямую в «неспровоцированном нападении этой дикарской суки». Он требовал ответить, что Уильямс с ней делал, раз так возмутил порядок, и заявил, что всерьез подумывал «прикончить суку». Уильямсу было нечего сказать, и он запер ярость за ходящими желваками и стиснутыми зубами. Он действительно чувствовал ответственность за девушку, но такую, какой де Траффорду не понять никогда. По краям нежности, что он испытывал в ее присутствии, нарывала глубокая, изнывающая привязанность. Все то, в чем его обвиняли, случилось в его отсутствие, но он знал, что виновен во всем – а чем, не смог бы объяснить и сам, особенно себе. Произошла цепь невозможных событий, а он остался вне их всех.

Он оставил всех и вернулся под опасливыми взглядами застывших туземцев в прибежище хижины, назначенной арсеналом. Нашел утешение в распаковке оружия, пока священник прокрался обратно в церковь, чтобы очистить ее от аномалий, которые могли там поселиться. Но когда Уильямс открыл тяжелый футляр в форме книги, его день изменился к лучшему. Подняв «Марс Фэрфакс» из бархата облегающего ложемент и почувствовав в кулаке внушительную твердость, он посмотрел на небо и, взводя массивный казенник под зычный колокольный лязг, кивнул с улыбкой понимания.

* * *

Гертруда Элоиза Тульп была единственным ребенком. «Единственным» в великом множестве смыслов: в том, что одному ребенку дается все; в том, в каком это слово истолковывается как знак естественного превосходства, перерастающего в неоспоримое право; в ее сиятельном восторге от единственности без примеси одиночества.

Она была предметом гордости, труда и восхищения отца – второго в городе лесоторговца в третьем поколении, давно оставившего простейший быт унаследованной империи слугам и обратившего свой острый аппетит к политике и церкви. Она была скромна видом, обаятельна манерами – с высокой стройной поволокой, по большей части скрывавшей очаг ее собственного голода. Все двадцать два года ее жизни были наполнены добротой и образованием, но ни то ни другое не растопило боль из-за рождения в незнании. Она хотела открыть все и овладеть всем. Немедля.

Она ненавидела оставаться в стороне. Немногие смели пренебрегать ею в социальном отношении – ее влияние простиралось слишком широко, чтобы играть с огнем. Но большинство пыталось запереться от нее буквально – латунными и железными загадками, в слепую услужливость которых так глупо верят. Уже с семи лет она начала понимать их механику, принципы и – вслед за этим осознанием – какие дивные власть и удовлетворение лежат по другую сторону манипуляции ими. Она получала доступ ко всем часам дня и ночи. Она краслась на цыпочках по самым запретным уголкам. Она видела королевские секреты: как ее родители слагают зверя о двух спинах; как люди прячут сокровища; как гниют за разговорами мертвецы в катакомбах под ее домом. Она видела интриги, инцест, коварство, ложь и удовольствие, закрытые предубежденному оку.

Теперь она стояла в подмышке соседнего здания, пока этот шут Муттер исчезал в сторону своего дома. Она выждала танталовый срок, наблюдая, как на улице оседает покой, наслаждаясь сдержанностью, прежде чем коснуться двери и увидеть меню для ее любопытства. Она быстро перешла пустое пространство и толкнула холодные ворота. Те сдвинулись, тяжелые под опойковой перчаткой.

Ее удовольствие вскружилось и безмолвно взвизгнуло: каковы запрет и экстаз! Дом являлся главным секретом ее жизни – тем единственным, в чем отказывали ребенку, у которого было все. Никто в семье о нем не говорил.

– Ах, ја, дом на Кюлер-Бруннен, – отвечали они и сменяли тему. Все дни своей жизни она глазела на него, изучала и следила за ним мимоходом, от коляски до зрелости. Дом постукивал по ее панцирю, тревожа внутри пробуждение. И теперь она преодолела его внешнюю стену, закрыла за собой ворота в защите от вульгарных вторжений.

Она помедлила у денников, стоя на простой конструкции двора, прежде чем подойти к входу, пока в душе разыгрывалось предвкушение. К ее радости и удивлению, дверной замок был прост – старый и известный тип, какой она уже много лет исподтишка взламывала в домах, принадлежащих семье. Дверь этого дома – не ровня ее навыкам, и она упивалась мыслью о том, что поглотит так долго скрываемые секреты.

Она вернулась обратно через двор. От ворот оглянулась на замок и рассмеялась – чуть ли не чрезмерно громко. И вот это нелепое устройство столько ее сдерживало? Она бы могла открыть его уже много лет назад. Понадобилась всего одна пантомима дурости со стороны Муттера, чтобы дать ей разрешение вырвать билет к удовлетворению.

Она захлопнула и заперла ворота на навесной замок и ушла по темнеющей улице, напевая до самого дома и смакуя свою силу и сладкую слабость всего вокруг. Теперь ни к чему торопиться; развязка энигмы цепко сжата в ее руках. Она растянет потенциал, вместо того чтобы перескочить к развязке; пусть окупятся столько лет досадного недопущения. Теперь ей принадлежит каждая воображаемая комната.

Шесть дней спустя, когда Муттер ушел вновь, она проникла в дом.

* * *

Говорили, что многие годы никто не доходил до центра Ворра. А если и доходил, то уже не возвращался. Предприятия расширялись и процветали на самых южных окраинах, но из чащи до людей не доходило ничего, кроме мифов и страхов. Отец всех лесов; древнее речи, старше любого известного вида и, как говорили некоторые, их распространитель, замкнутый в собственной системе эволюции и климата.

Многослойная зелень и неохватные стволы, дышавшие здешним насыщенным воздухом, предлагали человечеству многое, но могли и поглотить тысячу людских жизней в микросекунду своего непрерывного, непостижимого времени. Столь обширна была площадь леса, что утвердила свои собственные временные требования, расположив путь трудолюбивого солнца на часовые пояса вне обычных мерок; теоретическому страннику, пересекающему всю ширину Ворра пешком, пришлось бы остановиться в центре и ждать по меньшей мере неделю, пока нагонит душа. Столь густым было дыхание леса, что оно проминало окружающий климат. Бурлящие облака взаимодействовали с его тенью. Масштабная транспирация сосала соки из ближайшего города, который кормился лесом, пила из легких его обитателей и насыщала небеса кислородом. Лес вызывал грозы и не имеющие равных сдвиги погоды. Иногда он подражал Европе, на неделю-другую украдкой пронося лжезиму, роняя температуру, так что город выглядел и чувствовал себя подобно своему прародителю. Потом взбивал ветра и жару, чтобы кладка трескалась после оков невозможного мороза.

Ворр не смел перелетать ни один самолет. Непредсказуемый климат, головокружительные аномалии компаса и невозможность посадки превращали лес в кошмар пилота и штурмана. Все его маршруты превратились в заросли, джунгли и засаду. Племена, что, по слухам, там обитали, были едва ли людьми – кое-кто говорил, там все еще рыскают антропофаги. Безнадежные создания. Головы, растущие ниже плеч. Ужасы.

Лесовозные дороги обегали его периметр, позволяя коммерции опасливо покусывать незащищенные краешки. Не было иных коммерческих способов войти или выйти из его твердой тени, кроме поезда. Бездумно прямые пути, бежавшие к сердцу, выкладывались рельс за рельсом с голодом до древесины. Протягиваясь, железная дорога тут же забывала свое прошлое. На своих однообразных милях она несла сон.

Большей частью ходивший по ней поезд состоял из открытых платформ и железных цепей, созданных для свежесрубленных стволов. Но были и два пассажирских вагона для кратких и обязательных визитов или для тех, чье любопытство превосходило мудрость. Были и рабовозы – простые коробки на колесах, предназначенные для переправки рабочей силы внутрь леса. Рабы менялись на глазах у хозяев. Они преображались в других существ – существ, лишенных цели, личности или смысла. Вначале считалось, что недуг лишь последствие их заключения, но скоро выяснилось, что в них оставалось слишком мало человеческого, чтобы страдать от таких тонкостей эмоций или чувствовать их. Сам лес пожрал их память и переродил древозависимыми.

* * *

Зоопраксископ устарел. Его вытеснили, превзошли другие машины, определявшие движение и проектирующие поступь реальности. Но эту затею Мейбридж бросил уже в Америке. Он и его медная гидра из линз, шестеренок и света давно достигли того, что теперь опошлявалось. Еще никто не видел новую машину – она оставалась скрытой от чужих глаз в проклятой комнате восточного Лондона.

Возвращение в Кингстон-апон-Темс после стольких лет и стольких путешествий казалось естественным. Мейбридж связался с оставшейся родней и попросил ее помочь ему постареть. «Дядя Эдди» стал мировым именем, человеком значительного влияния: они, конечно же, согласились.

Он знал, что не завершит последнюю машину. Ее эффект был бы катастрофическим – все, что принесло ему славу, в сравнении с ней казалось детскими игрушками, и он решил унести секрет с собой в могилу.

Много лет назад по крику, взывавшему из всех его архивов движения, Мейбридж понял: вплоть до этого момента он всецело заблуждался. Размеренное вычерчивание, занимавшее его жизнь, было ложью. Наблюдение – не первичная функция фотографии, а побочный эффект истинного предназначения. Постоянный поиск изображений жизни – это только добыча сырья. Весь смысл лежал в следующей части процесса – зерне, готовом дать вкус после беспощадного перемалывания: камера собирала не свет, а время, и больше всего она ценила время на пороге смерти.

Камера могла заглянуть между швами реальности и выискать суть, упущенную в континууме повседневности. Она питалась уткой между мирами, недоступной невооруженному глазу и обывателю. Впервые Мейбридж это заметил, когда делал портреты побежденных вождей модоков¹³ – столько лет назад, – хотя видел и в Гватемале, и в некоторых инвалидах,

¹³ *Модоки* – индейское племя, обитающее в США на границе двух штатов, Орегона и Калифорнии. В 1872–1873 годах между военными США и модоками произошла Модокская война, завершившаяся поражением модоков.

украсивших его портфолио движения. Они глядели в жизнь – и в камеру – отлично от прочих. Их портреты пели против мира, их глаза прошивали взгляд зрителя.

В стеклянных слайдах чувствовалась аура невидимой вибрации – но эффект переливался перед эмоциональным взором, а не в реальности. Это каким-то образом передалось снимкам: изображающие благородных или увечных моделей, обрамленных в пространстве, они гудели от явно выраженного резонанса, расщепляющегося в субъективном разуме зрителя. Поразительно, но эффект усиливался, когда снимок только проецировался на бумагу, а не наносился.

Зоопраксископ двенадцатого поколения не походил на другие. Явно не на первые четыре. Он просил другого имени – такого, что по-прежнему пугало изобретателя, хоть он его так и не нашел. Глядя на хитросплетение линз и затворов, никто бы не поверил, что может этот аппарат. Все бы ждали очередных красивых картинок, танцующих на стене, но встретили бы рябь света, вырезающую из оптического нерва хлыст движущихся образов...

Несмотря на самодовольство, Мейбридж оставался проницателен и достаточно умен, чтобы понимать: подобное заявление – на публике – повредит его положению и поставит под удар завоеванное место в истории. Те умишки, что чернили его достижения, легко бы растоптали Мейбриджа, буде посвящены в это открытие – но им никогда не украсть его триумф или секрет. Он позволит секрету просочиться, только когда от них останутся гнилые кости. Пусть его гений провозгласят другие, еще не родившиеся люди – как Хаксли для Дарвина или Рескин для Тернера, – люди растущего века, которые признают его просвещенность. Он скопит силы и, быть может, проживет достаточно, чтобы застать это воочию. Он создал устройство, он сказал новое слово. Но он насмотрелся, как иных его возраста в последние годы жизни предавали поруганию, как они пали жертвой собственной щедрости, давились крошками мудрости, слишком свободно розданной толпе. Ему было что передать будущему – и кое-что получше, чем объяснения. Он уже слишком стар для споров и сомнений. Он оправдан и прав.

И он вернулся в Англию – скрыть свои знания о медном создании, творившем невидимое, и избежать врожденного любопытства и вытаращенного интереса американцев, которые ранее так блестяще эксплуатировал. Теперь хотелось спрятаться в угрюмом безразличии Англии, быть незримым, пусть даже на виду.

Давным-давно – сейчас уж кажется, сотню лет назад, – он навещал остров Мэн, древний риф в Ирландском море между Англией и Ирландией, забытый обоими враждующими островами. Родители возили его туда показать, как крестьяне работают на плотной твердой почве и в жестоком всклокоченном море, и избежать вопросов семейного ужаса, тлеющего дома. В редкий раскаленный полдень, без теней и других укрытий, ему доверили в одиночестве исследовать округу, пока мать и отец прогуливались по пляжу, наказав не удаляться далеко от того места, где он мотался и шатался, не находя ничего интересного.

В убежище чашевидной скалы, прибитой к утесу выкрашенными в белый цвет коттеджами, он повстречал рыбака. Скука мальчика была как наживка для старого морехода, топившего собственное бесконечное уныние в мертвящем труде. Они говорили урывками, роняя фразы в песок, чтобы наблюдать за ними без комментария. Вода отошла и уступила завывающее пространство для их дыхания, позволяя речи принять форму соленых пузырей. Пиком общения стало содержимое побитого ведра с морским рассолом, которое рыбак принес и драматически вывернул в песок на изучение мальчика. Из ведра слышались скребущиеся, лязгающие звуки. Мальчиком тут же овладело любопытство. Подойдя и заглянув внутрь, он увидел пять крабов разных размеров, мучавшихся в скудной воде и отвесных жестяных стенках своей тюрьмы.

– Они пытаются сбежать? – пролепетал мальчик. – Выбраться?

– Вестимо, – кивнул рыбак после табачной паузы.

– Но почему у них не получается? – спросил мальчик. – Их же больше, чем воды.

– То мэнские крабы, – ответил мужчина. – Вишь – всякий раз, как один чуть-чуть не выползает, другие назад тянут.

Мальчик увидел это, понял, что это правда, как сам океан, и тут же испытал благодарность за факт из взрослой жизни. Он знал – даже тогда, – что будет пользоваться им всю жизнь.

Единственный раз он закрыл на него глаза на свадьбе, когда дважды испытал всепоглощающую любовь, что потрясла его строгое древо познания до корней.

Молодая жена вошла в жесткую жилу холостяцкой жизни новой кровью, согревающей и озаряющей каждую частичку упорядоченного бытия Мейбриджа, принося радость, которую он не умел ощутить, – и впервые не желал. Рождение сына ошеломило его скопом чувств – больше, чем он мог понять; каждый раз, когда он брал в мосластые руки ребенка, внутри Мейбриджа горел и ерзал шар жизни. Но то были помехи – то, что задумано преходящим, моменты обмана, лишаящие чувства цели. Теперь сука сдохла, ублюдок сбыт с рук в другой дом, а он снова свободен. Свободен продолжать и никогда более не позволять столь вероломным чувствам отравлять его волю. Когда друзья приносили вести о растущем ребенке или о поразительном сходстве с отцом, которым сын уже обладал, Мейбридж отбрасывал их, отрезал от своего праведного разума. Он снова и снова менял дома – блуждал в пустынях и высоких горах без Христа или сатаны в спутниках. Он никогда не оглядывался.

* * *

Француз был единственным современным существом, исследовавшим Ворра, вошедшим под его сень и задокументировавшим некоторые подробности о нем. Единственным – причем все его опасное приключение было выдумкой. Разве есть способ лучше вторгнуться в сакральное и запретное?

Он, конечно, прочел или взвесил в руках любой связанный с существованием Ворра том. Он усвоил все малопонятные и фантастические повести путешественников, оказавшихся на волоске от гибели, сбежавших от антропофагов, артабатитов, псоглавых киноцефалов и всевозможных сказочных обитателей – представителей всех лесов на свете, затянутых в мифический омут Ворра. Он знал о лесном спасителе – легендарном Черном Человеке о Многих Лицах – и видел в нем очередную переработку европейского Зеленого Человека; ему принадлежали копии и частные переводы Эвтимена из Массалии и позднесредневековые версии Скилака Кариандского; он дивился басням сэра Джона Мандевиля, историям об ужасе и чудесах в нехоженных глубинах неизведанных земель. Он осилил труды Абу Абдуллы Мухаммеда ибн Батутты, даже пытался найти знаменитые мумии, купленные Рене Кайе и отправленные изнурительным морским маршрутом через Тимбукту обратно во Францию, где в недавние годы забывчивости они были «утеряны». Он читал все были и небыли и в свои последние дни нужды и интриги вывел собственную версию¹⁴ – вырубил ее из джунглей чужих слов, перевел скользкие тени значений в плотный уток описания. Он заново увидел каждый момент и задник вечного дикого леса. Его текст дал лесу жизнь, со всеми подробностями о населении.

За годы до этого он, Шарлотта и ворчливый шофер приехали в Эссенвальд – через предместья грязи и тростника к обожженным цоколям импортированной немецкой догмы. Их огромную машину качало и кидало на глубокой колее. Это был самый первый автотрейлер – грандиозное столкновение барочной гостины и дорогого бензинового грузовика, который Француз изобрел специально для дальних переездов. Днем три путешественника жили порознь, каждый мариновался в собственном салоне – лакированных темно-коричневых инте-

¹⁴ Реальный Руссель действительно за год до собственной смерти, в 1932 году, написал «Новые впечатления об Африке», большое стихотворение со сложной структурой и системой ссылок.

рьерах, томящихся в коробящей жаре. Шоферу запрещалось снимать форму, даже в зной. Только по ночам ему допускалась нагота и отпускалось имя.

Француз приказал остановить машину, когда впервые почуял кровь. Они ехали через окраины города, вихляя и скача к его каменному европейскому сердцу. Святилище – одно из множества высоких красных строений с раноподобными окнами – испускало пронзительный аромат, на его поверхности из засохшей грязи еще виднелись отпечатки зодчих рук. Каждый день здесь сыздавна забивали коз, и одна сторона башни дочерна пропиталась кровью и молоком. Француз вышел из автомобиля на ослепительное солнце, где пыль еще крутилась поземкой у неподвижных колес.

В этом околотке сказочного города улицы были безупречны в своей грязи. Достав костяные очки из котикового футляра, он водрузил их на глаза; шелки сузили его зрение и притворили солнце. Очки были из Гренландии, приобретены у недавнего исследователя тех ледяных бесплодных мест.

Француз был наинелепейшим из путешественников, блестяще подготовленным ко всему, пока оно не случалось. Его туфли ручной работы тут же перепачкались в красной земле, как и кремовый костюм. Он стоял и смотрел на башню, ожидая, когда его заметит толчея местных прохожих. Они видели его – коротышку на пяточке прибытия, – но куда больше интересовались его огромной пытящей машиной, закрытой со всех сторон. Они замедляли шаг и сворачивали к ее металлическому телу – кое-кто осмеливался дотронуться со слепой стороны. Скоро Француз встретит молодого человека, который станет самым значимым явлением в его пасмурной жизни, но пока толпа просто прижималась к окнам фургона, пытаясь подглядеть салон. Женщина внутри вцепилась в ридикюль. В его надушенной темноте хранился серебряный «дерринджер» – ладонный пистолет американского происхождения; он покоился в умбровом кошельке яркой запятой. Пистолет был сделан так, чтобы удобно сидеть в руке при выстреле. Тупоносый и неточный, на малой дальности он бил смертельной пощечиной. Француз никогда не отличался чувством мужской заботы о слабом поле, даже о тех, кого терпел и уважал. Со своей оплачиваемой спутницей он был скован грубой демократией, выросшей из эгоизма, желания и унижения.

Отвернувшись от рассерженного шофера и нервной женщины, Француз подошел к башне на открытой улице.

– Куда держите путь, отец? Вы не заблудились? – из солнца выступил молодой человек – с нимбом у головы, выжженным яркостью. – Куда ваш путь? – спросил он снова на французском – с акцентом, отражавшим окружающий их зыбкий мираж из песка.

Француз безгласно уставился на молодого человека, сосредоточившись на лице. Резонанс в тоне потревожил еще не разгаданное, но тем не менее известное место в заглубившем сердце. Жутковато сдержанным голосом он сказал молодому черному, что прибыл увидеть Ворр – взглянуть своими глазами на сказочный лес.

Пылкая улыбка человека стала шире, и он посмотрел за пыль и плечо Француза. Показал татуированным пальцем на горизонт. Француз быстро обернулся, посмотрел в осыпающуюся щель между рядами зданий, где за северной стороной города смыкался тенью и непроницаемым контрастом мрачный занавес. Краснота земли, животных, растений и домов обрывалась у его массивного края.

Эта внезапность тут же напомнила Французу театральные декорации и мыслями вернула в оперу, виденную в детстве. Она была яркая и ошеломительная – сюжет нечеток, музыка бесстыжая и горланящая. Но зачаровали его декорации: на сцене растянулся лес из нарисованной тьмы, ослепительно искусственный, а листья, корни и висящие лозы переполнили голодное воображение тоской, с неустанной настойчивостью глодавшей все остальные реалии, – та же сцена промелькнет в последнюю миллисекунду его жизни, когда он ляжет в кафельном безразличии отелной ванной, посеянный в кислороде, давясь и желая поглощения.

То был лишь второй раз Француза в театре, хотя мать часто о нем рассказывала. Она приходила пожелать доброй ночи, пока он был в ванной, и его няня останавливалась, не донося мочалки, отступая в восхищении перед всплывающим видением. Мать всегда поражала – своими светскими платьями и блестящими украшениями. Она рассказывала о театрах и балах, куда ходила; о балете и опере; сюжеты о принцессах и королях, демонах, девах, магии и заклинаниях. Иногда касалась его спины или руки шелковыми перчатками, отчего по влажному возбужденному телу пробегала дрожь. Но никогда не задерживалась, и это няне доставалось вытереть насухо его остывающую надежду и одеть ко сну. Парфюм матери не выветривался из сердца еще долгие часы.

Наконец, когда до Ворра было рукой подать, Француз понял, зачем забрался так далеко. Но стоило ему бессознательно сделать шаг к лесу и всему тому, что разбалансирует его жизнь, как шофер начал колотить по клаксону – позабытых спутников совершенно застила непроходимая стена зевак. Какофонический вопль, воспоминания и запинающееся любопытство стянули узлом движение во времени, выхватили из-под него следующий шаг, уронив ничком в дурацком удивлении навстречу красной земле. Его неловкость поймал длинными черными руками молодой человек, поставил прямо их обоих.

Француз боролся в объятьях. Он любил, чтобы его касались только тогда и там, где указывал он. Он уже готов был кричать караул, когда что-то от твердой нежности объятий все же прокралось сквозь гадливость. Он взглянул в лицо державшей его высокой тени. Теперь спаситель весь был силуэт на фоне слепящего солнца, черты лица и глаза скрылись. И все же выражение можно было различить; его глаза излучали благодать. Француза держала благодать, что ходила по жизнерадостной земле. Молодой человек ничего не сказал, но показал длинной тонкой рукой, зыбкой от кудрявых волос, на тень низкого здания. Француз склонился к плечу человека и позволил себя вести. Молча они вошли в тень благоуханного бара, где сидели и пили мятный чай и пытались говорить. Молодой человек начал с того, что представился и объяснил, что, несмотря на лохмотья, он благородных кровей.

– Я буду звать тебя Сейль Кор, – провозгласил Француз.

– Но это не мое имя, мастер.

– Не суть. Сейль Кор был великим героем, и я хорошо знаю его имя. На это приключение ты будешь им.

Молодой нахмурился из-за такой причуды, но принял прозвище, чтобы потрафить маленькому человечку. Беседа стала серьезной, а когда Француз объявил, что пройдет весь лес, пространство меж их знанием и пониманием разошлось и треснуло.

Сейль Кор отвел взгляд от собеседника и посмотрел на горизонт.

– Ты можешь дойти до развалин святых, – сказал он с твердостью и отрешенностью, – но не далее. Прочее заповедно. Тот путь заказан, тебе придется свернуть. Сынам Адама не можно войти, ибо там ходит Бог.

Заинтригованный, горящий от азарта, Француз распалился от столь смелых и фундаментальных заявлений.

– Живущие там боги и монстры должны быть более дикими в центре, – усмехнулся он.

При этих словах на лице Сейль Кора появилось выразительное терпение, и он повернулся, снова уставившись в разговор и проведя рукой над сердцем.

– Не боги древних народов, – сказал он мягко. – Единственный Бог. Твой Бог; мой Бог; Яхве. Великий Отец, сотворивший все сущее и подаривший Адаму угол в своих владениях, чтобы тот жил и рос. Там ходит Он. Это Его сад на земле. Рай.

Вокруг разверзлась внезапная тишина.

– Сейль Кор, друг мой, не хочешь ли ты сказать, что в Ворре расположен Эдемский сад?

– Да, это так. Но Эдем – лишь угол Божьего сада; прочее – это места, где ходит Бог, чтобы думать о мирском. То невозможно на небесах, где все одинаково, без формы и цвета, темпе-

ратуры и перемен. В мирском саду Он носит платье чувств, сплетенное с нашим временем. Он позволяет камням и скалам, ветру и воде облечь Его невидимые идеи. Он воображает нашу жизнь в материи, из которой мы сделаны.

Француза шокировали и тронули такая вера и скрепляющая ее ясность. Отложив на время цинизм, он отчаянно попытался составить следующий вопрос вне своего обычного снисходительного безразличия.

– Откуда ты это знаешь? – спросил он.

Сейль Кора смутил вопрос. Неужели его собеседник действительно так недалек?

– Так сказал Он, – ответил Сейль Кор.

Любые дальнейшие расспросы, к которым подмывало Француза, оборвались. Они расстались, уговорившись встретиться на следующее утро и начать путешествие к краю Ворра.

Француз вернулся к слугам и нашел отель, твердо стоящий в центре города, на прочных дорогах, откуда была изгнана пыль. Той ночью Француз почти не говорил с Шарлоттой. Лежа в постели, прислушиваясь к подлунным звукам за окном, он молился о сне. О сне библейской вескости, о яркости сада, необитаемом тысячи лет. Но поджидавшие его сны не знали пощады и пришли с хищной грацией шакалов.

* * *

Тишина дома возбуждала ее, завывала ожидания, делала вкусней переходы крадучись из комнаты в комнату. Она медленно открывала для себя двери и дом, двигаясь с убежденностью, ласкавшей момент. Поиски в полной свободе ночи лишь усиливали удовольствия.

Несколько лет назад она прочла «Сердце-обличитель» в третьем издании, упиваясь коварством По и стоя рядом с протагонистом, когда тот скользил к спящей жертве. Она дивилась способности автора описать подобное самодостаточное зло на фоне обыденной, скучной скорости жизни; тому, что он знал нюансы скрытности и умел передать в словах тихий, искусный злой умысел. Рассказ современного американского автора тронул ее и подарил надежду. Хотя его чуть не испортил намек на манию, она знала, что По поистине понимал власть и представления высшего интеллекта, в конечном счете увлеченного проницанием собственного развития.

Теперь, в этом пустом старом доме, она могла практиковать собственные таланты. Вооруженная фитильным фонарем с окошком, прислушивалась к человеческим звукам – тому шепоту движения и дыхания, что всегда выдает их присутствие. Уши силились ловить любой намек, но не слышали и малости жизни. Убедившись, что она в особняке одна, Гертруда позволила ногам расслабиться и прекратила ходить на цыпочках. Спешно двигаясь по низкому коридору, она едва не пропустила запертую дверь в подвал.

Подняв фонарь, чтобы осмотреть свою коллекцию стальных булавок, она выбрала две из них с подходящей кривдой и применила к латунной скважине. Произвела обычные повороты и извороты, но ничто не сдвинулось. Она сменила отмычки на те, что крепче; этот замок был другим, его внутренний механизм – упорней; возможно новей. Она бормотала под нос в натуге. Не должно быть так сложно; что она делает неправильно? Гертруда остановилась и снова прислушалась к пустому дому. Ничего не изменилось, так что она снова вставила отмычки и вдруг осознала, что она-то права, но не прав запор: он был левым – левые сувальды, коварно установленные в замок на правой стороне двери. Она перевернула шупы вверх ногами и повернула против логики. Замок уступил.

Гертруда открыла дверь и оказалась в заметно другом пространстве – на лестничной клетке, нависавшей над мрачными глубинами подвала. Вход соответствовал всему, что она видела дотоле, но в атмосфере отличие было налицо: здесь кто-то жил. Ладони взмокли, во рту вдруг пересохло. Голову вскружило одновременно от восторга и тошноты. Она не видела,

не слышала и не обоняла перемены, но все фибры разума говорили, что она уже не одна. Обостренные чувства, зависшие на грани открытия, тронул другой индикатор: тепло. Статичный и нейтральный мускус отсутствия надушило крошечное повышение температуры. Там кто-то был – прятался под домом.

* * *

Все чаще их ежедневные уроки перемежались требованиями Измаила практиковать спаривание; его диету соответственно адаптировали, дабы компенсировать перемену в привычках и потерю жидкостей и минералов. Долготерпение Лулувы объяснялось ограниченностью ее функций – чертой, которая, очевидно, наделяла ее неугасающим энтузиазмом к чему угодно.

Бывали дни, когда они спаривались часами. Другие занимались вокруг своим делом, носили еду и уроки, игнорируя их или наблюдая, слегка удивляясь энергии и однообразности действия. В одном случае Сет их поправил, чтобы они не соскользнули со стола, на котором так сильно возились.

Измаил все еще учился по ящикам, но предпочтение отдавал влажным безмолвным урокам – с безграничным энтузиазмом, пока усталость не замедляла до сна. Тогда Лулува укладывала его, затемняла комнату и понижала температуру. Укутывала в глубоком изнывающем сне, прежде чем оставить святость их покоев и подняться в сам дом, тихо войти в подвальную кухню, где однажды жили люди. Она снимала кожухи внутренних механизмов и промывала в фарфоровой раковине. Занималась она этим в темноте, потому что машинам не требовался свет для функционирования, даже если им дан лишь один зрячий глаз.

* * *

Гертруда вздрогнула от шума воды. Теперь она наверное знала, что здесь кто-то есть, что она – нарушительница. Еще она знала, что, кем бы они ни были, они не желали, чтобы их нашли; свидетельством тому было их подпольное проживание. И все же возбуждение перевесило любой трепет из-за преступления – а кроме того, никто не поднимет руку на Тулып.

Шум прекратился. Навостренные уши уловили шорох защелки, и Гертруда последовала вниз по лестнице на звук, стараясь подняться от пола всем длинным телом и стать невесомой, пока пальцы деликатно прощупывали каждую ступеньку на предательство, прежде чем доверить ей полный вес.

Спуск занял больше часа, и к этому времени в ночи уже завожилась заря. Старая подвальная кухня была просторной и пустой. Из высоких окон на восточной стороне сочился тусклый паучий свет. Сад на улице зарос по краям; свет на его пути в неподвижную комнату приправляли свалевшиеся лозы, пыльная листва и газ паутин. Она стояла в проеме и прислушивалась. Ничего. Впервые она ощутила холодок волнения – не страха, но легкого нервного воспарения, которым теперь наслаждалась. Она оглядела комнату, чтобы оценить ее нынешнее предназначение и пересчитать двери. Между мраморным столом и люком кухонного подъемника лежали остатки ящика. Брошенные – вероятно, этим дураком Муттером – щепки и короткий ломик. Потом она увидела свет в чулане; дверь была слишком маленькой, чтобы вести куда-то еще. Гертруда присела, чтобы изучить ее. Ни скважины, ни ручки; заподлицо со стеной. Некогда дверь не бросилась бы в глаза – так плотно посажена, что невозможно разглядеть. Но возраст размыл ее границы, так что теперь о другой стороне говорил клинышек света.

Поставив фонарь, она подняла лом и без колебаний вывернула стоическую дверь. Не чулан, но изгибающийся и спускающийся коридор предстал перед ней. Она согнулась под стать туннелю и пошла-поползла, пробираясь вдоль его длины.

Не подозревая о ее наступлении, Авель и Лулува занимались деталями завтрашней учебы – «Урок 314: Характерности деревьев» – в тусклой спальне с тихо храпящим Измаилом. Аклия была в смежной комнате – концентрация прикована к открытому ящику, голова склонена, глаза всматривались так, словно читали что-то внутри. Сет заряжался на стойке, набираясь энергией для следующего дня.

Ни Авель, ни Лулува не заметили, как начала отходить дверь в стене; не зафиксировали они и прищельца, попытавшегося разобрать их формы. Когда ее глаза привыкли к комнате вне света коридора, мозг попытался осмыслить увиденное. Он допускал обман зрения, он предполагал иллюзию, вызванную усталостью, он даже выдвинул сон в качестве объяснения ее открытия. Но вот скользнула по спине своим холодным щупальцем реальность, и Гертруда отдернулась от отвращения, страха и голода.

Ее невольная судорога толкнула дверь, хлопнувшую в замершем помещении. Брат и сестра вскинули головы, загородив от нее просыпающегося мальчика, занимая хищную стойку защиты – почти на четвереньках, вздыбившись, как кошки. Гертруда проникла в комнату, подталкиваемая удивлением от этого уникального момента и слишком страшась обратиться спиной к этим маленьким гибким существам. Она медленно развернулась в пространстве и подняла на высоте груди лом, как нерешительный штык. Голова коснулась потолка; существа едва доходили ей до плеча. С растущим утренним светом она увидела, что они не существа, но машины, и в силу вступил извращенный рефлекс собственного превосходства. Корка самоуверенности обрела голос, и она уже готова была заговорить, когда Авель раскрыл челюсти и издал высокий шипящий визг. В противоположной двери тут же появились Аклия и Сет – в той же стойке, что и Родичи. Измаил, разбуженный переполохом, потер лицо и сонно обернулся к конфликту. Дремота улетучилась в тот же миг, когда он понял, что выход преградила Гертруда. Ее лицо спровоцировало ужас, и его стошнило пустотой от увиденного уродства: у нее было два глаза.

На миг все в комнате оцепенело в морозном напряжении. Только позывы к рвоте Измаила разбили ледник времени.

Затем он хило пролепетал:

– О, о, на помощь!

Авеля науськала эта жалкая команда, и он быстро сделал три шага к Гертруде, пронзая оком ее бледное нависающее лицо. Остальные Родичи сгрудились позади. Он был в метре от нее и приближался, когда лом отделил шею от плеча. Голова вместе с куском торса задрезжала по полу, а рот бешено трещал, пока на растрескавшемся лице вращался единственный глаз. Тело же упало на колени и окоченело, плеснув из-за судороги внутренним кремом за зазубренный край расколотого тела. Даже в разгар событий Гертруда мгновенно вспомнила, как в детстве занималась вивисекцией жуков. Тот же хрупкий панцирь, лопающийся под ее лезвием, тот же белый гной, бегущий из полости хитина. Крем скользнул за шоколадно-коричневый край и разлился по кафельному полу.

Остальные теперь издавали тот же звук, что и разбитая голова, без удержу трещали жесткими челюстями. Зубы Гертруды стучали в унисон, зараженные звуком от этих устройств и ужасно безобразного ребенка, который скорчился на металлической койке. Но стаккато ее зубов напилось адреналином восторга, так что в хоре доминировала его настойчивость.

Мальчик застонал и закрыл глаз от уродства в симметрии этой великанши. Внезапно Родичи отступили – задом наперед, не отворачиваясь, – в противоположную дверь; они ступали с деликатной устойчивостью, ни разу не отнимая глаз от вторженки, – все еще в полуприседе, словно для нападения, но в обратном направлении, отматываясь. Они достигли двери и исчезли за ней. Лулува ушла последней и сразу перед тем, как исчезнуть, посмотрела на мальчика, который почувствовал ее взгляд, но обернулся слишком поздно, чтобы увидеть. Все, что осталось от его защитников, – закрывающаяся за ними дверь.

* * *

Проснулся он мокрый от пота, с порозовевшей подушкой – спросонья шарил по голове и телу в поисках раны, объясняющей заляпанную ткань, но ничего не находил.

Сон выхолостил его; в нем не осталось ни следа покоя, когда он выполз с постели в утро, побежденный и измочаленный. Кипяток не помог; пятно ночи не смывалось. Француз нехотя оделся, плотно застегнувшись в костюм из кусачей, раздражающей лжи. После глотка черного горького кофе вышел из комнаты в день, не говоря ни слова. Снаружи отеля поджидала готовая наброситься жара.

Сейль Кор стоял в тени пальмы через улицу.

– Бонжур, эфенди! – окликнул он, взмахнув рукой в интенсивно-синем небе, когда на солнце показался ослепительно-белый костюм. Француз, едва успевая за шагом Сейль Кора, обнаружил, что его восторженно влекут по улице.

– Мы отправимся прямо в Ворр, – говорил его знакомый. – Но по пути я хочу вам кое-что показать.

Француз согласно пробормотал, но внутренне ужасался мысли идти пешком. Он не имел намерений на пешее путешествие, и все же его тащил по главной дороге грязного городишки незнакомец. Раздражение росло с жаром дня; на душе скребли когти прошлой ночи, завистливые и живые.

Шагая по приподнятому деревянному настилу под галереями из изогнутого песчаника, он вспомнил выверенные архитектурные красоты Берна, где проводил некоторое время с матушкой, гуляя по ярмаркам в дни перед Рождеством, когда на улицы без цели падал снег, легкий и постоянный. Ни единая снежинка не коснулась их, когда они переходили из лавки в заветную лавку, – сводчатый Альшттадт предлагал уютный туннель цивилизованных пропорций, напоенный радостями теплого коричневого вина и ароматами соснового ледяного воздуха.

Так же внезапно, как Француз впал в фантазию, извращенность сравнения сплюнула его назад, не давая времени на наслаждение или подготовку; снова собственный механизм творческой изобретательности обернулся против него. К тому времени это случалось все чаще и чаще; у блеска его литературной лжи был злодейский близнец, который не понимал, почему все эти игры слов, если они так остроумны, должны функционировать единственно в рафинированной прозе. Каждый день он повсеместно применял те же правила композиции и выдумки, низводя удовольствие и опыт до жалких шуток. Хватался за воспоминания Француза и выворачивал их замысловатыми мотивами, тучными от странности, заставляя глупость и гордость трахаться на священной земле его гения. Вокруг все было скроено из гниющего дерева и держалось лишь на вонии тлена. Ничего подобного изяществу Швейцарии; даже величественные каменные дома бледнели до незначительности.

Раздражение Француза росло, обращаясь на него со всепожирающей радостью. Загоняло его обвинениями: в основе сравнений дышали какие-то поблекшие детские сантименты – их же должны были выбить из него уже много лет назад? И что он вообще здесь делает? Он никогда не покидал нумеров или автомобиля, зачем же согласился на встречу с этим безмозглым дикарем?

И так без конца. Вокруг головы жужжал рой мух – нимб падальщиков, – только чтобы лишний раз подчеркнуть мысль. Француз сплюнул одну изо рта, дико размахивая руками, чтобы отогнать остальных, и выронил трость, застучавшую с тротуара на нечистую дорогу. Сейль Кор только рассмеялся при виде этой пантомимы нового друга. Вспыльчивого и в лучшие времена, Француза мгновенно залучила злость, и он плевался оскорблениями в лицо невежественной черни. Ничего не случилось. Сейль Кор не выказал шока или гнева. Даже не дрогнул, только сменил открытый смех на серьезную хмурую улыбку и подождал.

Шипение последней ругани обернулось пшиком; Француз был готов развернуться и топтать обратно в отель, когда одним простым и плавным движением Сейль Кор снял с головы свой легкий шелковый шарф и небрежно повязал на красное ходящее ходуном горло коротышки. Мир пропал. Сплавились синь ткани и неба, свежий ветер остудил сердце и успокоил разум.

Когда яд и стресс ушли, Сейль Кор взял Француза за руку и потянул за собой, подводя к дверям близлежащей церкви. Он направил ошалелого компаньона внутрь, и они сели в прохладе зала на одну из темных резных скамей. Француз пытался найти слова извинений, но так давно ими не пользовался, что остался нем.

– Я привел вас сюда, чтобы вы поняли Ворр, – сказал его проводник. – Этот Божий дом – для тех путников, кто проходит рядом с его священным сердцем. Пустынные Отцы основали эту церковь еще до того, как на ее месте стали столпить камень на камень, до того, как для нее срубили хоть одно дерево. Они пришли из Египта, как пророки былых времен, пришли стеречь и ждать, защищать нас и тех, кто путешествует в нас.

Француз огляделся. В иконографии доминировали образы деревьев; деревьев и пещер. С лица, как будто вырубленного топором, глядели черные сурьмленные глаза. Белизну пристального выражения Отца обрамляли темные волосы до плеч и спутанная борода. В одной руке он держал Библию, в другой – посох. Он сидел в пещере, окруженный глубокой зеленью непроходимого леса. Сцена была исполнена на квадратной доске толстой и узлистой древесины. Француз уставился на икону, пока над его головой говорил высокий черный человек.

– Ворр был здесь до человека. Божья длань осенила эту землю не сдерживаясь. Деревья росли в великой тени познания, изобилия. Древнее молчание камней сменилось молчанием леса, слышимым. Сим было создано место для человека – чтобы дышать и быть благодарным. В центре тени раскрылся сад, и Ворру был дан обитатель. Он до сих пор там.

Глаза Француза оторвались от взгляда святого. Он повернулся и поднял голову к Сейль Кору.

– В Библии говорится, что дети Адама покинули обетованные земли и ушли в мир.

Сейль Кор провел ладонью над головой – словно отгонял запах или поглаживал нимб.

– Да, так написано – но Адам вернулся.

Они продолжали беседу, пока вокруг храма рыскала дневная жара. Француз отказался от последних остатков сексуального влечения к спутнику. Вначале оно присутствовало – насыщенный, густой мускус фантазии, будораживший их встречи. На первых порах Француз не видел причин, почему не овладеть черным принцем, не добавить к списку беспризорников, матросов и преступников, приправивших сточную канаву его сексуальной алчности. Сейль Кор был красив и наверняка одарен физически; очевидная бедность упрощала его кратковременное приобретение.

Но слова в устах Сейль Кора, убежденность представлений и доброта в глазах смыли прочь это сальное амбре, заменив эфирной отстраненностью, шокировавшей самую гордость и кровоток краугольного цинизма Француза. Усталому призраку хандры пообещали полноту и надежду. Француз ощутил в Сейль Коре – с некоторым страхом – вкус искупления. Даже поймал себя на том, что стал придавать вес нелепым мифам о Ворре и бившейся в них сердцем душеспасительности. Вдвоем они толковали о змеином грехе, об избавлении, о звездной короне и происхождении предназначения; доме Адама в раю, его многих коленах, наказании Евы и всех преступлениях познания. В эти моменты блуждающие глаза Француза вернулись обратно к святому и его братьям, занявшим стены. Он охватывал черно-белые картины ангелов; в некоторых узнавал страницы из книги – вырванные и обрамленные выжимки из представлений Гюстава Доре о рае и аде. Изображения были твердыми, почти мраморными с виду, такими непохожими на сердитых патриархов – Пустынных Отцов с икон, с одинаковыми глазами, с невозможным сочетанием температуры бесконечности и категоричного, точеного автори-

тета. Французу пришло в голову, что у Сейль Кора молодая версия этих самых глаз и что они дозреют до того же взгляда строгой мудрости.

Когда беседа подошла к концу, Француз заметил другую картину. Меньше остальных и в дальнем углу храма, вдали от всех источников света, она была исполнена левкасом на том же плотном дереве, но в процессе, очевидно, что-то пошло не так, поскольку пигментация лака почернела. Он приблизился, чтобы изучить ее; казалось, картина пуста или вмещает только нарисованную ночь. Он коснулся кончиками пальцев заскорузлой поверхности, различая рельефные очертания, контуры головы – проглоченного обитателя картины, невидимого в детских пучинах.

– Что здесь? – спросил он проводника.

Молодой человек стал стеснительным и уклончивым, отказывался смотреть прямо на плаху мрака.

– Что здесь? Прошу, ответь.

– Некоторые истории из Ворра старше человека, и их путают с Библией, – ответил Сейль Кор. – Думаю, это одна из них. Сказано, что после того, как умрут все сыновья Адама, древо придет оберегать некая сущность. Зовут его Чернолицый Человек. Это может быть он.

Француз пригляделся к картине. Сейль Кор же при этом отвернулся, сказав, что им потребуется целый день, чтобы обсудить посещение Ворра, а этот день стал отступлением для поиска другого знания. Такова жизнь – чувствовать направление ветра или падение человека. Этот день был посвящен храму и их месту в колесе времени. Сейль Кор со стуком подобрал трость Француза со скамьи и передал ему – теплую и легкую. С ее набалдашника взвихрилась пыль, как дым в косых лучах поджидавшего снаружи дня. Больше они не говорили о той скрижали тьмы.

* * *

Женский голос раскатился вязким воем. Она была отвратительна, но человечна, и отчасти он узнавал в ней себя. Она стала первой своего рода, кого он видел или слышал, и была она чудовищем – переросток с лицом, от вида которого его то и дело тошнило. Мороз от мысли, что он брошен наедине с этой тварью, пронизал до мозга костей.

Превратно понимая его отвращение за страх, Гертруда пыталась сказать заточённому чаду что-нибудь доброе, что-нибудь, что донесет: она не причинит ему вреда. Она упражнялась в доброте, и от этого незнакомого ощущения ощутила в себе праведность – в самом чистом смысле, что когда-либо знала.

Долгое время она оставалась почти неподвижной, говорила мягко, чтобы подчеркнуть дистанцию и сдержанность. Измаил поглядывал на нее уже не с той опаской, убирая руку от прикрытого глаза и постепенно привставая в кровати. Она увидела, что он не ребенок, а низкорослый подросток, крошечный и жутко обезображенный, но весьма человечный.

Высоко над ними в перевитом саду вставало солнце, шугая цепляющийся туман и разоблачая ярко-синее небо. Его свет слепил кухню, слал толстые завивающиеся лучи, пронзившие подвальные окна. Без сквозняка или любых других движений поднялась упиваться неподвижностью пыль. Комната пела и ликовала в своей незанятой красоте – как и все комнаты, оставленные на столь долгий период времени: не запятнанные даже легчайшими следами переделок или лихорадочной воли людей, вновь овладевшие своими замыслом и расстановкой.

Гертруда с опаской двинулась через комнату к юнцу; руки широко разведены, лом оставлен позади – она чувствовала, как обладание наполняет ее будущее и оправдывает настоящее. Она медленно прошла мимо накренившихся останков Авеля, но ее осторожности не хватило, чтобы не дать ему опрокинуться, разлив последнюю жидкость шумной лужей. Это вызвало в Измаиле неожиданную ярость, что растеклась по всем уголкам его страха. Его бросили. Лулува

оставила его, не сказав ни слова. Родичи не смогли защитить – в сухом остатке вся забота их труда и проведенное вместе время ничего для них не значили. Он смотрел на сломанное баке-литовое тело, окоченело и неуклюже завалившееся в молочном болоте. Безжизненная голова Авеля еще лежала на другом конце комнаты, но воспоминания об их разговорах уже начинали ускользать от Измаила. Его смятение и гнев встретились на распутье, где их уже поджидала тень этой гигантской женщины.

Она быстро свыклась с болезненным прищуром съезженного подростка, чувствуя прилив заступнических чувств – новинку, примешавшую к ее смятению благочестие. Она никогда не переживала таких эмоций, как когда дотронулась до Измаила, но он отпрянул от контакта – эта мягкость была бессмысленной, тошнотворной. Он натянул на свою наготу легкое синее одеяло и закусил кулак.

Из словаря художественной литературы Гертруда извлекла:

– Тише, ты в безопасности, – слова комкались в горячем рту, как его импровизированная набедренная повязка. – Эти создания ушли, и я тебя защищу.

Он знал, что имеет в виду двуглазая, но не мог понять, почему она это говорит. Голосом Родичей – хрупким трепетом – он ответил:

– Это была моя семья, мои друзья.

Гертруда была уязвлена. Она не дозволит этим омерзительным куклам задерживаться в его бредовых мыслях ни секунды дольше. Отбросив последние остатки незнакомства, она обеими руками помогла ему подняться из койки, присела, притянув его лицо к своему, и сказала:

– Это чудовища. Тебя держали здесь в плену, вдали от своих. Это мерзости. – Он моргнул и пустил слюну. – Их найдут и уничтожат за то, что они сделали с тобой и твоим лицом.

Она усадила его на пол и крепко запахла на нем одеяло, подоткнув полы под его дрожащий вес.

– Не двигайся, – сказала она. – Я скоро вернусь.

Она быстро дошла до места, где исчезли Родичи, и заглянула в соседнюю комнату, где нараспашку оставили еще одну дверь. Опасливо протиснувшись мимо зарядных отсеков и открытых ящиков, добралась до крошечной кухоньки на противоположной стороне комнаты. Оттуда открытая дверь вела на винтовую лестницу с темнотой в основании. Внизу была полость – куда больше, чем ее же архитектурная структура. До Гертруды донесся резонанс – плотная пустота, звеневшая в тишине: тот самый пресловутый колодец.

Там не двигалось ничто, кроме самого объема, который вытягивался ко дну столбом ожидающего эха. Она не стерпела его превосходства и пустила в него крик.

– ЧТО!

Слово нашлось во рту, минуя мозг. Выплюнулось само – не вопрос, а скорее вызов или брань, плевок звука, чтобы застолбить территорию и показать, что она не отступит. Он должен был быть непокорным, но дрогнул. Слишком поздно она поняла, что это самое последнее слово – на любом языке, – которое стоило прокричать в подобную нарезную бездну. На такие вопросы рано или поздно приходит ответ, и она молилась, чтобы он пришел сейчас, так как страх наконец захватил ее ощущение контроля. Но снизу пришел сокрушительный рокот, и она почувствовала себя мелкой перед такими глубинами знаний. Реверберация «ЧТО!» прокатилась по лестнице, шипя и грохоча между магмой и звездами. На микровечность все внутри нее лишилось краски и подвижности. Белая кровь закупорила сердце, наглухо забила уши и сгустилась в глазах, спеклась в капиллярах мозга; пленка белого дыхания встала во вратах легких; белые мускулы прикипели к белой кости; белую мочу подмывало обжечь белые ножки, а белые нервы перещелкивались между собой от мутности и прятались в прозрачности воды.

Пока эхо еще содрогалось, она отдернулась обратно в жизнь и побежала. Грохнув за собой дверь, она понеслась через аккуратный застой следующей комнаты, сталкиваясь с упаковочными ящиками, соломой и банками с образцами, тревожа столы и ссадив ногу. Влетела в сле-

дующую дверь, подхватила Измаила в руки и выскочила в тесный коридор наверх, поскользываясь на свернувшейся жидкости, когда-то бывшей Авелем, и пнув голову, та опять затрещала по мокрому полу. Гертруда забурилась в яркий туннель, ее платье визжало от трения с гладкими стенами. Задышавшись на фоне всхлипов мальчика, она выехала на влажных четвереньках на тихую кухню, через взломанную панель тайной двери. Косой свет глазировал помещение, даруя благословение, но Гертруда едва зафиксировала его на бегу со своим подопечным, из кухни по лестнице, и ворвалась наконец в спокойное достоинство старого дома. Она хлопнула дверью и, глубоко вздохнув, одной рукой повернула свой ключ от всех дверей, пока второй приперла обмякшего мальчика между бедром и стеной. Запор встал в гнездо. Слезы встали в глазах. Приготовилось к высвобождению облегчение, но тут она услышала что-то позади. Разворачиваясь, она призвала ярость в брызгах голоса, пота, слез и безымянной каши от разбитого Родича. Оголив зубы, с руками-когтями, она столкнулась лицом к лицу с Зигмундом Муттером.

* * *

Оба устали от компании друг друга. Дело кончено, уговор заключен. Цунгали дал согласие на охоту. Он заберет жизнь неведомого человека и опустошит ее – где-нибудь в глуши.

Войдя в ночь, он вошел во власть над своим миром. Богами и демонами он лепил из него свое понимание сил – каждая со своей ценой, отмеренной в крови. Он прошел к концу лагеря, где в тених таился угнанный мотоцикл – пумовый скелет стойкого металла. Уверенно оставил «Энфилд» в латунных ножнах на мотоцикле. Винтовку звали «Укулипса» – «колыбель» на языке его матери. Она плотно села в тусклом расцарапанном металле – сама расцарапанная и мятая от потертостей и сотрясений, но теперь погруженная в крепкий сон нежелезистой насыщенности, оберегавший от влажности. Здесь Укулипса была в безопасности – плоть деревянного цевья, мышцы и кости механизма защищала тугая гулкая темнота, слабо отдававшая металлической кровью. Он проехал мимо часовых в толстые бревенчатые ворота, из бывшего дома – во мрак своей неколебимой уверенности. Шины рокотали и с регулярным пульсом скакали по красной почве, пока он приближался к своему биваку и задаче, к которой приступит с легким сердцем.

В нем не было ненависти к белым – это отняло бы энергию у целеустремленности. Он просто знал, что все они наперечет воры и лжецы. Когда его произвели в полицейские офицеры в двадцать лет, он уже был важным пророком своего племени, жрецом-неофитом, ожидавшим возмужания, чтобы войти в полный статус. Сама чтимая Ирринипесте видела его ценность и хвалила за отвагу. Быть замеченным шаманом такой силы – великое благословение. Когда она попросила наушники его двоюродного брата, он отдал их с готовностью.

Брат погиб за неделю до повышения Цунгали, после инцидента с захватчиками. Многие Настоящие Люди старались понять и перенять новый уклад, перевести заморскую бессмыслицу в какую-то прикладную частичку реального мира. Его брат – в их числе. Он наблюдал за их укладом и увидел самый дорогой фетиш. Он наделал копий того, что было у них под охраной и в почете, полагая, что уже одно подобие прояснит все, даже раскроет смысл их слов, и тогда все смогут причаститься великой мудрости. Он делал компрессы из листьев и земли, скреплял слюной и смолой. Лепил из них черные слитки, которые белые жрецы звали библиями. Даже носил свою собственную у сердца, словно падре захватчиков.

Но на эту преданность белые ответили злом и конфисковали все розданные имитации. Когда он удалился в лес и начал строить хижину, они как будто успокоились и радовались его уходу.

Хижина вмещала брата в полный рост. Над ней он поставил очень длинный шест, связав вместе тростник и самые прямые сучья, какие нашел. С этой шаткой мачты свисала длинная

лоза, которую он привязал к самой верхушке. Лоза проходила через крышу и соединялась с двумя половинками кокоса, скрепленными между собой изогнутой веткой. Те брат водрузил на голову – по половинке на каждое ухо. Как белые, он слушал голоса духов, парящие в воздухе. Как у белых, мачта ловила их на свою леску и переливала в чашки и в его голову. Он сидел целыми днями, крепко зажмутив глаза, в абсолютной концентрации. Когда захватчики нашли его, они смеялись до розовых слез. Он тоже смеялся, и дал им наушники – как они их называли, – чтобы они послушали голоса.

Офицер взял скорлупу, все еще стирая смех с глаз, и приложил к ушам. Улыбка тут же спала, и он отбросил их – отшвырнул, как змею. Закричал на брата и приказал своим людям сжечь хижину. Но брат отказывался уйти, говорил, что так хотели духи и что огонь пройдет по столбу и хижине в воздух, где будет ждать, чтобы однажды войти в столб на хижине белого человека. Там брат и сгорел. Цунгали подобрал выброшенные наушники и смотрел с остальными, как хижина и мачта духов рушились вокруг сидящей в дыму фигуры.

Никто тогда не понял инцидента, даже захватчики, прочитавшие молитвы по огню и за упокой души его двоюродного брата. Это понимание будет зреть еще несколько полных лет.

После этого столкновения Цунгали и назначили полицейским. Для равновесия, думал он, и потому, что он так и не взял ту твердую библию. С первого же дня он стал превосходным полицейским, подчинялся всем приказам и исполнял все задания. Это было проще, чем казалось: он объяснял своим людям, что хотели видеть белые, те соглашались – и готово, новые хозяева верили, будто их желания воплощаются в жизнь. Столь хорош был Цунгали в глазах хозяев, что три года спустя его вознаградили – перевезли на самолете из его земли в свою; долгое и бессмысленное путешествие, чтобы показать величие их происхождения. К прилету в грандиозную европейскую метрополию он уже лишился компаса, гравитации и направления; его тень осталась дома, изумленно глядя на пустое небо.

Его тело раздели в гладкие ткани, волосы зализали. На ноги натянули перчатки и заостренные ботинки; прозвали Джоном. Водили в великие чертоги на встречи с множеством людей; он идеально исполнял свои обязанности, говорили они. Он достоин доверия, говорили они, – новое поколение его клана, достижение их империи.

Он только наблюдал и закрывал уши от гула голосов. Касался всего, шупал текстуру и цвета, чтобы помнить разницу, размер и о том, что все там было облезлым, сглаженным и блестящим, словно море из миллиона людей точило дерево и камень, изгибая занозы и приглушая шкуру. От их еды сводило и саднило рот, обжигало изнутри и пронзало так, что он без конца гадил; даже это у них было упорядочено. Его не пускали в подстриженные сады, а запирали в камере, где следовало оставлять отходы, смывать в холодную каменную чашу. Он мог вынести все, так как знал, что скоро вернется.

Но музей изменил все и объяснил масштаб их лжи. Как церкви, где бывал Цунгали, музей оказался высоким и темным; все шептались и ходили тихо, уважая живущих там богов. Один из солдат провел Цунгали по всему музею, показывая ящик за ящиком невозможные вещи, заточенные в стекло. Они плели ложь – картины, провожатый – о людях, живущих во льду и спящих с собаками; показывали на крошечные тотемы, светившиеся в темноте; бормотали свою магию; кивали вместе. Все более поддаваясь отвращению, он прошел вперед и свернул за угол, замерев перед следующим огромным шкафом. В нем светились все боги его отцов. Их держали в тюрьме из стекла и дерева, очищенных и гордых, чтобы все вокруг могли видеть их силу и поклоняться. Но на полу тюрьмы лежали без понимания и толку ценные орудия и заветное имущество его клана: вещи мужчин и женщин, утварь и тайны, парные и спаривающиеся, непристойно выставленные напоказ и раздавленные текстом. К каждому предмету привязали бирки, накарябанная ложь белых вцепилась в каждую ценность – звери в капкане; украденные и покалеченные браконьерами. Все то, что отняли, признали за дрянь и заменили сталью. И там, в центре, было жертвенное копьё его деда. То, что шло к Цунгали поколениями, из дре-

весины, чреватой потом и молитвами семьи. То, чего он так и не коснулся. Цунгали вошел в кладезь всего значимого, всего заветного – всего украденного.

Посетители затихали перед предметами и божествами, испытывали кротость перед их воздействием. Один из старейшин в форме встал на колени, почти касаясь носом стекла, чтобы приблизиться к вырезанному воплощению Линкку – богини плодородия и полей.

На противоположной стене были картины. Почти в состоянии транса Цунгали подошел ближе к ним – в память о деревне, приколотой к стене и обесцвеченной. Это было последним кощунством; выставка сакрального, мертвого и душ живых.

Его покровители наслаждались визитом, довольные его внимательным поведением. Они наблюдали, как он уставился на фотографию старейшины своего племени, сидящего перед жилищем с замысловатой резьбой. Это был важный снимок антропологической ценности – первый документ контакта, показывавший nepотревоженную культуру во всем ее домашнем блеске. Цунгали уставился на своего деда. До этого старика ни разу не фотографировали, и он не представлял, зачем чужак накрывает лицо и трясет перед ним коробкой. Он сидел на ступенях Общего дома, с мухобойкой из хвоста животного в ступне, пытаясь незаметно прикрыть рукой яйца; с замешательством на лице, со слегка склоненной головой, чтобы заглянуть за ящик, подглядеть лицо фотографа. Глаза и рот деда только что уязвила странность – он слишком оторопел и растерялся, чтобы отвести событие. Стены Общего дома инкрустировались прыгучими, ползучими и жестикулирующими духами. Все их резные и раскрашенные лица были живыми, говорили с чужаком, смеялись над его повадками.

Старик смотрел сквозь ящик, сквозь чужака – до самого своего отражения – и как будто содрогался. Дверной проем дома был темен, но все же внутри едва-едва проступала еще одна фигура. Мальчик – счастливый и ухмыляющийся, сплошь зубы и глаза в темноте, открытое улыбающееся удивление. Это был Цунгали – застигнутый молодым, противоположность нагоде, потрясению и боли его любимого деда.

Слезы наполнили его глаза, когда он втайне умолял снимок сдвинуться, отвернуться или вернуться – что угодно, лишь бы не атаковать память такой упрямой утратой. Он больше не мог смотреть. Найти своего деда под стеклом, прибитым к стене, так далеко от дома и земных останков – это за пределами кощунства и святотатства. Это глодало Цунгали, всю его генетическую лестницу – эмоциональное, скрытое, проедающее до самого вымирания. Он ускользнул обратно в толпу и быстро растворился в сутолоке. Сбежал из того места и затерялся на улицах лжецов.

Его, разумеется, отыскали и водворили обратно на родину, где доверили объяснить славу и верховенство хозяев. Вместо того он объяснял, что богов Настоящих Людей украли и заменили скрещенными палками, что всё, чем был народ, чему однажды поклонялся, отдали другим. Объяснял, что хозяева обхитрили их, украли предков и заключили в узилища из стекла. Объяснял, что на подобную нечестивую профанацию есть лишь один ответ: третьего июня, ярким весенним днем, он начал Имущественные войны.

На следующий день две трети захватчиков умерли или умирали, их дома сожгли, а церковь разрушили; взлетную полосу выворотили уже вскоре, а крикетный питч осквернили до неузнаваемости.

Питер Уильямс исчез в мифе. Как и блаженная Ирринипесте – дитя, которое так и не постарело, дочь Былых и сердце Настоящих Людей.

* * *

Трудно сказать, чье потрясение было сильнее. Они без слов дрожали до столовой старого дома, Муттер – громко сглатывая, пытаясь не глядеть ни на кого очевидно, но то и дело отры-

вая глаза от пола, чтобы увериться в зрелище пред собой. Гертруда беспощадно суежилась, промокая и соскребая грязь с платья тряпкой, выхваченной из кармана Муттера.

А Исмаил? Невозможно угадать, о чем думал маленький полуголый циклоп за своими ладонями, которые он сомкнул на лице в тот же миг, когда Гертруда выпустила его из своей защитной хватки. Она же и нарушила тишину приказом.

– Муттер, ты никому об этом не скажешь.

Он взглянул на ее властность, на пыле которой быстро улечивалось унижение, чей пар отдавал привкусом гнева. Муттер машинально кивнул.

– Ты обязан помочь мне спрятать это несчастное измученное дитя, – она положила руку на плечи Исмаила, чтобы подчеркнуть слова. Приводя себя в порядок, она игнорировала мальчика, так что он подскочил от внезапного объятия. – Сюда еще кто-нибудь ходит? – пожелала знать она.

Муттер заверил, что ключи доверены лишь ему одному и что он никогда не видел здесь ни владельца, ни кого-либо еще; как и его отец.

– Хорошо, – сказала она себе. Теперь она думала проворно, и ее радовала ясность мысли. – Есть ли у тебя ключи от комнат наверху?

– Да, госпожа, но двери не заперты, – сказал Муттер со скрипящим в голосе беспокойством. В комнате холодало, и Гертруда заметила дрожь подростка.

– Поди принеси ему одежду. Что угодно. И разожги огонь, – она показала на приемную по соседству. – Ступай и ничего не говори.

Муттер кивнул и подался к двери.

– А, и... – окликнула она, когда он собрался уйти. Зигмунд обернулся с вопросом в глазах, и она встретила его на полуобороте, сунув четыре тяжелых монеты в ладонь. – Принеси еду и питье – да горячее.

На этом он моментально пропал за дверями. Она вернулась к Исмаилу и крепче затянула на его белом теле простыню.

Двумя часами позже мальчик был одет с плеча детей Муттера. Они поели, и в комнате стало тепло. Усталость клонила циклопа в сон, и у Гертруды появилось время для планирования. Она экзаменовала тревожного слугу, вызывая о незримых хозяевах, доме, ящиках и о том, как все эти годы его семье платили. Осознав, что ему ни о чем не известно, она начала возводить собственный дворец лжи.

Основания сего барочного строения укоренялись в потребности и страхе: страхе Муттера лишиться работы или понести ответственность за ущерб и так глубоко его озадачившую странность послужил ей опорой для восхождения к обману. Она не без подробностей объяснила, что похищение человека – преступление, караемое строжайшим из вердиктов; что он единственный человек с ключами; что многие видели, как каждую неделю он носил в дом еду. Более того, больше здесь никого не было, а показания Исмаила не примут, если ему вообще дадут слово.

Потребность же принадлежала ей. Она хотела оставить маленькое чудовище себе одной, узнать больше и не делиться – до времени – с множеством и недомыслием. Но она жила в отчем доме. Ей требовалось другое место, чтобы спрятать его, и дом номер четыре по Кюлер-Бруннен подходил в точности. Она запечатает нижний этаж и любую мерзость, что там обитала, и будет держать уродца на чердаке – или в комнатах на третьем этаже. Станет навещать каждый второй день – никто и не узнает. Главным для успеха плана был Муттер. Он будет двигателем, приводящим в действие повседневный механизм секретности, а растопит она этот двигатель устрашением и деньгами. Единственным неизвестным оставалась реакция невидимых хозяев, когда они узнают о ее вторжении и уничтожении одной из их кукол.

Она ждала их появления, но того не последовало. Тем временем Муттер работал как работал – забирал ящики, вез в дом, открывал, тасовал содержимое, накрепко забивал и вез

назад. Он приносил обычную еду; он чистил стойла и приглядывал за лошадьми. Теперь он получал двойной оклад за ту же работу ключника и замок на своих устах и глазах.

Верхний этаж был полностью обставлен, так что обустроить пригодное жилье будет несложно. Она приступит к созданию уютного и уединенного дома. Но прежде того предстояла работа в подвале. Она сказала Муттеру принести инструменты, замки и оружие.

Придвинув стул к подвальной двери, проинструктировала о том, что нужно сделать внизу. С его ключами в руке и дробовиком на коленях она говорила только самое необходимое, выкрикивая указания вниз по лестнице, с которой недавно сбежала. Ему предстояло спуститься вниз – мимо старой кухни в то погребенное место. Ему предстояло собрать останки той отвратительной твари и сбросить в колодезную шахту. Ему предстояло сменить все замки и заколотить все двери. Она же будет сторожить дом и прислушиваться к его прогрессу с лестницы.

Муттер был не семи пядей во лбу, но понял, что служит ей лакмусовой бумажкой, канарейкой в клетке, – что спускался он приманкой для чудовищ. По коже бежали мурашки, когда он сошел вниз. Она стояла и прислушивалась – телом в коридоре, головой в темном лестничном колодце, со стволом, направленным навстречу ожидаемому. После трех часов и долгого грохота молотком и пилой Муттер вернулся, с облегчением от ухода и удовольствием от завершения. Гертруда лучилась улыбкой, радуясь окончанию работы не меньше его, пока он не сказал, что прибирать было нечего – только пятно на полу. Останки, которые она расписала в столь мрачных красках, пропали. Она снова и снова расспрашивала его, хотела убедиться, что он не ошибся комнатой, а потом сдалась. Кто-то или что-то перенесло улики и переписало все роли в этом странном событии.

В первые недели ее план как будто бы работал. Она придумывала для семьи все новые оправдания своих удлинняющихся припадков отсутствия. Наслаждалась хитроумной сложностью, тем, как бочком плыла вдоль стен дома и проскальзывала внутрь незамеченной. Семья верила каждому ее слову. У них не было причин для сомнений, и потому они не связывали ей руки и не путались под ногами. Она прекратила ежедневные походы на кухню, чтобы давать советы повару, и больше не требовала у дворецкого новых трат на содержание хозяйства. У нее осталось меньше расходной энергии на то, чтобы обращать материно внимание на новую моду и способы развлечений, и вовсе никакого времени, чтобы противоречить отцу в его делах. Покой застал семейный дом врасплох. Между слуг даже ходили слухи, что в ее жизни появился мужчина, что она наконец нашла ухажера, способного угодить ее многочисленным ожиданиям. Эта перспектива вызывала немало насмешек и ухмылок, стоило прислуге сгрудиться у круглого стола на кухне.

Муттер делал как велено. Время от времени она слала его вниз, проверить замок и прислушаться к движениям в заколоченной комнате, но ничего не было слышно. Раз она прокрадлась вниз вместе с ним, чтобы перепроверить его слова. Улыбнулась при виде растущих слоев пыли и прочности преград. Ничего не заметив, успокоилась. Ее план работал, с ним устанавливалась регулярность, создававшая в странном старом доме отрядный ритм быта.

Величайшим сюрпризом стало то, как легко адаптировался к новой среде циклоп. Он был спокоен и задумчив, проводил время в одиночестве за чтением принесенных ею книг. Он словно позабыл – или хотя бы списал со счетов – время в убогом закутке под полом. Он ни разу не упоминал о мерзостях, державших его в плену. Он прекратил звать их Родичами, когда она объяснила, как это гадко. Он казался довольным новым домом и вращался в новую роль взрослого.

На пятую неделю она заметила, что Измаил растет и в буквальном смысле, растягивая чужую одежду в пародию. На седьмую неделю он перерос второй костюм, который она со всеми предосторожностями приобрела всего несколько дней назад. Измаил вымахал, раздался в пле-

чах; ел все то же, хотя и с большей добавкой, но одно это не произвело бы столь неожиданного эффекта. Она гадала, не в пространстве ли дело.

Она уже видела нечто подобное – годами ранее, когда ее золотую рыбку перевели из маленького стеклянного шарика в куда больший аквариум. На то время ей было шесть лет. Столь замечательной стала метаморфоза в малом существе, раздувшемся до размеров, более соответствующих увеличенному окружению, что она обвиняла в подмене всех в пределах слышимости. Даже в том возрасте она до конца стояла на своей уверенности; никакие объяснения не подвигли бы ее поверить, что это естественный феномен, и с той поры она лелеяла пятно злопамятности против неопознанных заговорщиков. Теперь же впервые засомневалась. Одно дело – заменить рыбку экземпляром того же вида больше и старше, но найти другого человека-циклопа? Никак невозможно. Значит, это должно быть правдой: он рос вопреки к габаритам нового пространства.

К сожалению, это совпало и с переменами в темпераменте. Циклоп становился апатичным и угрюмым, находил ее визиты все менее и менее интересными. За нитки дергал проблеск закипающего гнева, маневрируя его телом в хмурых, скупающих рывках. Его глаз избегал ее, нарочито. Она хорошо знала эти движения – они много лет были важной частью ее собственного словаря, но никто еще не смел обращать их против нее.

Гром грянул буквально в вечер грозы. Она пришла позже обычного, взбежала по лестнице, сбрасывая сырой дождевик. Он ждал, с настроением сгустившимся и пасмурным. Сперва она не приняла это всерьез, хлопоча по прибытии, снимая мокрую шляпу и перчатки, манипулируя своей скоростью, чтобы прорезать напряжение, которое он транслировал в комнату. Но в тот вечер ей это не удалось.

– Где ты была? – спросил он надтреснутым и гортанным голосом, на три октавы глубже знакомого ей. – Почему не приходила так долго?

Безошибочное ударение на «где» и «почему» – слова впились в воздух.

– Прости, дождь стоит стеной, а мои уроки затянулись, так что...

– ТВОИ уроки! – гаркнул он. – ТВОИ уроки? Уроки раньше были у меня! Теперь я просто сижу, ни с чем и ни с кем.

Она опешила от горячности этого утверждения, от гнева и тоски, душивших пространство между ними.

– Ты говоришь не думать и не говорить о тех, кто держал меня раньше, ты говоришь, они были нечистыми и опасными. Я ГОВОРЮ, ОНИ ОБО МНЕ ЗАБОТИЛИСЬ!

Она заметила в скисшем свете, что на его щеке высыпала красная сыпь, а уши горели алым.

– Я приносила тебе книги, – вяло отвечала она.

Этого хватило для последнего удара.

– КНИГИ НИЧТО! ТВОИ КНИГИ НИЧТО! – заревел он, схватив одну и швырнув через комнату. Та ударилась в затворенное окно и разорвалась по корешку, упав изувеченной и изломанной, как пернатая дичь в поместье ее отца. – РАНЬШЕ МЕНЯ УЧИЛИ. – Дом словно шумно хлебнул памяти из колодца внизу, поощряя продолжать. – Учили с заботой, учили с умом, – сказал он, давясь пеплом гнева.

Ужасающая тишина раздвинула комнату в обратной перспективе, разделив их на своих концах оглушающей дистанции. Муттер давно ускользнул, предпочитая держаться в отдалении, занимаясь с ящиками внизу. Он не хотел иметь касательства к этой драме или страстям, стремясь только закончить работу без помех. Он тихо оставил дом, неуклюже пробравшись на цыпочках по мощеному двору.

С кончиков ее брошенных перчаток, скользящих со стола на немой ковер, бесшумно капала вода. Одна страница смятой книги превратилась в окоченевшую гримасу, страшась быть увиденной в свои последние мгновения.

Наконец она сказала:

– Я буду тебя учить.

Он хрюкнул – этот звук задумывался презрительным фырканием сомнения, но с новым и непривычным голосом прозвучал схоже с кашлем, налитым мокротой.

На следующий день все еще было сыро, но без хлещущего горизонтального ветра с теплого моря, неустанно гнавшего дождь. Во время завтрака Муттер вспомнил, что должен забрать очередной ящик. Шмат хлеба потерял вкус на полупережевывании, и он простонал сквозь тающее масло. Он решил вернуться в дом немедленно – когда, как он знал, там не будет Гертруды.

Зигмунд запряг лошадь в двуколку, вывел из денников и через двустворчатые ворота. Отпирая их, бросил опасливый взгляд на третий этаж. Знал, что ничего не увидит в окнах; он сам плотно закрыл ставни и навесил замки, как было указано. И все равно чувствовал, как тварь размазывается по стеклу, желая омыть глаз городом.

Через сорок минут он прибыл на склад на другой стороне города. Со скрипом костей и рессор спустившись с двуколки, отпер замок – больше своего сердца и в шесть раз тяжелее – и распахнул ворота внутрь, втянув лошадь. Вошел на склад, волоча за собой пустой ящик. Он привык действовать механически, наслаждаясь постоянством пополнения. Никаких вопросов – только обмен объектов. После драматических перемен в доме номер четыре по Кюлер-Бруннен он страшился встречи с хозяином дома. Его сочтут предателем обязанностей, вверенных семье и исполнявшихся без сомнений и обмана два поколения кряду. Неужели он все безнадежно испортил? Тут он увидел слепящую белизну конверта, прервавшего тропу между дверью и ящиками, и заподозрил, что да. Муттер запаниковал. Письма – прямоугольные схемы его невежества, маленькие бумажные лезвия, угрожавшие ему всю жизнь. Муттер не умел читать, но это никогда не составляло трудности. Мир труда и мускулов, выдержки и неопределенности не требовал писем для руководства или описания его жизненной важности.

Он подобрал конверт – с опаской, чтобы его не коснулся яд. Увидел паутины чернильные следы словес на поверхности и не знал, что делать.

Затем заговорил голос:

– Зигмунд Муттер, ты хороший человек, и мы тебе доверяем.

Муттер вздрогнул всем телом и ошарашенно огляделся, в удивлении и облегчении от услышанного. Голос доносился от всего склада и все же отчего-то казался личным, близким.

– Семейство Муттеров было нам угодно много лет. Твой отец, ты и твои сыновья навек заслужили наше доверие. Весь ваш труд и преданность высоко ценимы. Отнеси это письмо госпоже Тульп и молчи о нашем разговоре. Ты под покровительством, и твоя семья будет обеспечена.

По дороге домой Муттер сидел на облучке как во сне. Черная двуколка изгибалась и гнулась по улицам, колеса и копыта говорили через бразды с его холодными руками. Он поставил лошадь в денник и перешел в дом, держа письмо перед собой, как дохлую рыбину или живую сороконожку, – в вытянутых руках. Войдя в особняк, он попал на Гертруды, бесцельно суетившуюся в прихожей. К его появлению она нацепила равнодушие, пока ее восприятие не задела его переменившаяся манера. Подняв взгляд, она заметила непредсказуемый фокус Муттера и письмо в руке. Он сунул письмо ей и ничего не сказал.

Г. Э. Тульп

Ты совершила преступления проникновения в чужую собственность и незаконного проживания. Ты подкупила моего слугу. Это никому не известно. Как и о других предпринятых тобой действиях.

Это известно мне. Однако я желаю того же, что и ты: молчания.

Ты в моем доме, и у тебя мой ребенок. Я присутствовал при твоём рождении; твои родители в моем ведома и власти. Не усомнись в этом – или пропадешь.

Тебе доверено следовать своим собственным планам. Ты под покровительством. Не оставляй и не умаляй своей украденной ответственности. Через год я обращаюсь к тебе вновь.

* * *

Он знал, что добыча пойдет одним из двух маршрутов. Первый – главная торговая артерия – вел напрямик в город, через главную улицу, через промышленный фланг, а затем – в Ворр. Другой – старая тропа, блуждавшая по длинной долине, прежде чем войти в город через его многослойную историю. Она рассекалась о кучку старых зданий, где встречались река и шесть других дорог, а затем ползла к городу, Ворру и другим, менее известным сторонам. Эти маршруты медленные и едва ли использовались обычными путешественниками; они приберегались для тех, кто хотел вкусить прошлого, тех, кому было что скрывать, тех, кто не желал мешаться с обычными людьми. Часто – для первых, вторых и третьих, вместе взятых. Цунгали знал, что, хотя его добыча не желает быть увиденной, ей по мере приближения все равно придется отдыхать, покупать еду и сведения. Старая дорога идеально отвечает этим нуждам.

Приблизительно в полутора днях пути от города был покрытый шрамами мост, пристроенный к рабочей мельнице и россыпи хижин. Он висел над излучиной крутой каменноугольной и известняковой долины. Здесь протащили свой сбрывающий вес ледники, прорезая петляющие каньоны и выдавливая русла, над которыми щерились нависающие стены торчащих утесов. В одном месте, у самой мельницы, высокие отвесные стороны почти соприкасались – приближались друг к другу с обостренным напряжением, возможно из-за воспоминаний об исторической связанности. Говорили, что иногда солнечный свет проникал между ними на час в день; в других случаях не могло быть и того и внизу клубилась тьма.

Мельница и сопутствующие постройки отличались равно смутной историей; большинство путешественников за версту обходили их тени и преступления. Но здесь любой мог остаться без лишних вопросов, насладиться заниженными ожиданиями и избежать угроз этого места.

Цунгали сидел промеж скопления камней, глядя сверху вниз на мост. Четыре пролета над рекой были могучими и компактными в своей солидной структуре. Мост сносил сухую, обжигающую жару ударного лета или жестокий мороз зимы, скалывающей скалы. Он жутко вторил эхом своих сводчатых изгибов худосочному ручью. Он выстаивал против половодий, метавших в его сваи целые деревья, и ловил свет от воды, отбрасывавшей полифонию в его арки.

Цунгали наблюдал молча. Он просиживал очередной из множества прекрасных дней, подстерегая добычу. Он уже навещал мельницу, чтобы приняться к ее внутренностям и предназначению, силе ее жильцов. Ему были известны их число, цвет и вера. Мотоцикл он затаил в высоком бамбуке возле реки и прошел сюда вброд, ступая между рябящими камнями. Преодолеl путь до этого поселка – пяти построек в неровной линии, с поднимающимися от двух чумазных лачуг завитками душистого дровяного дыма. Местная возвышенность и множество деревьев фильтровали и приручали дикий солнечный свет до прохладной пестроты, предполагавшей покой, хотя его жесткое бледное безразличие марало воздух бедой.

Горбатый домик, привитый к боку мельницы, был питейным заведением, о наличии которого далеко вокруг вещал шум. Цунгали подошел к двери и распробовал на вкус то, что нахо-

дилось внутри: запахи стряпни; выпивку; дым и громкие голоса; лихих людей. Внутри оказалось еще хуже; солидный декор мужского напряжения, припавшего между громким гоготом и угрюмой тишиной, порою разбавлявшийся порывами алкоголя.

Он сел на стул – место черного, – спиной к стене, в тених. Отсюда исподлобья наблюдал и оценивал компанию. Притворялся, что пьет, кутит с горячительным, выливая его за рукав и под стол. В трех посетителях мгновенно узнал убийц. Одним оказался Тугу Оссенти – сотоварищ по полицейской службе, до Имущественных войн. Оссенти отправили в отставку после обвинений в пытках. С тех пор было известно, но не доказано, что он убивал за деньги и иногда для удовольствия. Он бы не узнал Цунгали, который тогда был куда моложе и светлее кожей, к тому же с незаточенными зубами в последний раз, когда они сталкивались лицом к лицу.

Оссенти якшался с близнецами. Тощие, белые и нервные – в них жила внезапность мелких рептилий, их глаза и руки постоянно бегали. Цунгали знал по опыту, что любые близнецы даже порознь умеют думать как один. Он уже видел это в деревне – наблюдал, как двое работают в унисон, без слова совета или указания между собой. В боевой обстановке подобные враги могут быть непредсказуемы и неодолимы. Их быстрая бдительность встревожила его куда больше, чем сила и история их спутника.

После пристального изучения он позволил взгляду мазнуть по дымному неровному помещению. В дальнем углу сидел одинокий пьяница – в тених, растворявших его черты. Его осанка читалась даже в сумраке, и Цунгали не стал на нем задерживаться. За круглым столом посреди комнаты громко сидели четверо. Они казались гуртовщиками. В заплетающейся беседе их подпирала поношенная одежда и толстые башмаки. На кожаных крагах спеклась грязь, отваливаясь кусками у неповоротливых ног. Они провели за этим столом часы.

За стойкой навтыжку сидел высокий худой мужчина, изображая безразличие. Его узость и одеяние предполагали духовенство; его хребет был самым прямым предметом в зале. Потягивая прозрачную жидкость из стакана через длинный бамбуковый побег, он пил без рук, вяло обвисших по бокам. Он вперился перед собой в ряд бутылок за стойкой, чьи задние стороны отражались в зеркале, охватившем скособоченную комнату своим треснутым затуманенным оком. Выбеленное искаженное лицо мужчины плавало в расфокусе стекла. Кроме него присутствовали только кабатчик, хрипящий старик в задней комнате и дурковатый юнец с собакой.

В стойке у двери оружия не стояло, а значит, все его прятали на себе. Здесь не место для наготы, но Укулипсы с Цунгали не было. Она лежала в своих латунных ножнах высоко в листьях бамбуковой рощи – патина металла совпадала с цветом шепчущей листвы; к тонкой закрепившей ее веревке привязан амулет невидимости. В этом окружении ему требовались спутники ближнего боя; в складках коленей ждал тупоносый бескурковый пистолет, а под мышкой висел длинный крис; под мостом был скрыт дополнительный арсенал.

Он прочел мужчин, затем изучил помещение, чтобы снять мерку боя или бегства, выходы и ракурсы возможного насилия. Черный ход, окно и открытый камин. На верхние этажи можно было попасть только по лестнице снаружи. Сидя, он проецировал на помещение бойню и перебирал сценарии защиты и нападения. Он не сомневался, что все остальные сделали или делают то же, кроме пса и старика, который дребезжал и метался в чужих снах.

Один из близнецов уловил вибрацию его прикрытых глаз и что-то пробормотал остальным. После уместной, но нелепой паузы Оссенти повернулся, притворяясь, что потягивается, склонив голову, чтобы глянуть прямо на тень Цунгали.

* * *

Шарлотте платили за то, чтобы она была под рукой – пожизненным компаньоном своего соседа в восьмом аррондисмане. Эту обязанность она несла с пониманием и благодарностью, а также потому, что ее тянуло к дворнягам – даже благородным.

Его мать платила за внимание – платила за все. Она знала о слабостях сына – и кое-что о его гении. Она окружила его заботой, и любовь поглотила бы его полностью, не будь у нее в жизни другой любви. Той любовью был героин, и он решительно выигрывал во всех конфликтах эмоций и заботы. Так в дублиеры матери наняли Шарлотту – на роль видимого женского столпа, к которому Француза публично посадили на привязь. Так ему будет с чем бороться не внутри себя, а вне, и всегда будет куда вернуться, обо что почесаться и что оскорбить.

У Шарлотты было лицо, которое следовало любить. Ее ошеломительные глаза говорили все самое чуткое и чувствительное – так, что смотреть больно. И взгляд подкрашивала боль – боль не за себя, но за тех, кто вокруг, кто страдал и присасывался своим существованием к вечной печали. Она была сильна, потому что была тиха. Не безмолвна, а спокойна. Ее красотой была красота слуха и сила щедрости; в углях ее взгляда тлело знание – больше, чем понимание. Она видела и чувствовала все, она отдавала больше любви, чем получала, – больше, чем ей когда-либо платили. Это поддерживало жизнь в некоторых ее друзьях, особенно тех, кто родился с одной половиной души в лимбо: окоченевших, беспомощно блуждавших в бедности или богатстве навстречу гибели. Ее тянуло к ним, тянуло пролить свет на их безысходное путешествие. Они бы не смогли признаться, что вампирили ее спокойствие и стойкость, не могли бы показать, как изнывали по ней. Но все же были по-своему вечно признательны Шарлотте, даже преданны, особенно когда умирали по ту сторону своих гнева и отчаяния. Они слали обратно свои призрачные языки – глубоководных океанских рыб, прозрачных и сияющих, – чтобы часто шептать благодарности в ее давно оглохшие и уже мертвые уши.

* * *

Мейбридж ненавидел выдумку. Он не видел в ней смысла, когда столь силен и странный факт. Особенно он ненавидел выдумки о науке и открытиях. Обычно он брезговал подобными произведениями «литературы», но по какой-то причине люди без конца слали его неблагодарной персоне копии своих нелепых потуг в этой области. Они словно бы воображали, что между их фантазийным бумагомаранием и трудом его жизни – трудом точности и гениальной изобретательности – есть что-то общее, тем паче разжигая его презрение. В основном писанина шла из Франции – очередная уважительная причина ей не доверять. Первым ему досадила Жюль Верн, а потом не заставили себя ждать подражатели. Мейбриджу пришлось стать экспертом в этом тривиальном вздоре и следить за ним, чтобы тот никогда не отразился на его репутации.

По возвращении домой оказалось, что Англию своими историями о путешествиях во времени, невидимках и генетических мутациях засорял Герберт Уэллс. Эти басни казались терпимыми только потому, что были легкими и краткими и писались как для детей. За год до смерти Мейбридж видел «Путешествие на Луну». Наблюдал, как фильм Жоржа Мельеса осквернил и обрек движущиеся картинки на будущее лжи, наблюдал, как его техника вышла за пределы его же понимания.

Именно легкость и подмену правды на ложь Мейбридж считал ленью ума в этих людях прозы – людях, не отличавших один конец отвертки от другого. Они описывали то, чего быть не могло, и превозносились за свое воображение. Скрупулезная красота его изображений – со всей их бережностью, организацией и наукой – попиралась в незначительности этой беспечной выдумкой.

Его новые машины положат конец этому издевательству; проекция кружащего подкрашенного света напрямую в разум зрителя очистит от аддикции ко лжи и заместит наносное пятно творчества истинным ожогом искусства – во всей его безошибочной ясности. Машина была заперта в комнате на другой стороне Лондона; он планировал спасти ее и привезти в Кингстон-апон-Темс, но правда была в том, что Мейбриджа утешала уже одна мысль снова пустить машину в дело, как бы ни выросло его понимание ее потенциала и предназначения.

И Мейбридж мешкал с решительным действием, снова и снова. Его руки слишком постарели и тряслись, чтобы переделывать ее, и ему хватало соображения не доверять технологию другим, чтобы потом смотреть, как ее крадут. Все это и вдобавок призрачное воспоминание о той женщине и произволе, который он от нее претерпел, подтачивало всякие планы на ожидающий механизм.

* * *

Сладко вставить толкать вставить суке в моей цепкой хватке толкать снова и снова прижать к земле чуют всё вставить сладко толкается мое сердце пульсирует она хочет сдвинуться но я держу крепко вставляю гну мы ворочаемся в пахучей пыли мои зубы на ее хребте толчки сердца сладко она скользит глубже не вырвется толкать она дрожит ерзает я кручусь нога скользит мы разрываемся катимся толкаемся касаемся земли запах земли выгнута спина мой член смотрит вперед она теперь другая сторона меня хвост к хвосту толкать сладко кружиться сцепиться вцепиться Потом порезы камни дети бросают камни мы связаны и не можем цапнуть они это знают мы кружим все еще сладко вставлять сцеплены выгнута вонь детей боль в обе стороны ебать кусать ебать кусать кровь от камней ай глаз толкаться крутиться камни она скулит я рычу вставлять теперь на нас вода другие трогают растаскивают она убегает полная моего семени я не могу стоять все еще сгибаюсь неуправляемый рефлекс ебать воздух нагнуть нагнуть ебать ничто снова и снова и снова кусать ебать кусать ебать выгнуть хребет все еще ебать ничто все еще все еще дети смеются но бегут от моих челюстей когтей в земле зубы ищут яйца пустые сладко она все еще у меня в носу пасти члене обтекает лизать сладко.

Все, кроме священника, дернулись взглядом к спящему псу, содрогающемуся под столом. На миг их взгляды оттаяли от прежней целеустремленности и стряхнули бдительность, чтобы приобщиться к дрожи, покусывавшей и сотрясавшей спящее животное, отцепились от напряжения и провисли в забытии. Он проснулся в судороге. Стол убийц забыл о тайном внимании Цунгали и вернулся к предыдущему секретному разговору.

Когда Цунгали вышел в полусвежий воздух улицы, за его движениями следила одна пара глаз. Снаружи он чувал, как на высоких кронах оседает вечер, как овраг начинает петь вернувшимися птицами. Он знал, что это станет важным для него местом, но еще не знал, когда и чем. Оптимизм захлестнул его опаску, и он прочел молитву с одной рукой на талисмানে на шее, второй – сжав пистолет в глубоком кармане плаща из кожи и брезента. Он не убьет свою добычу здесь; он чувал, что это место припасло для него что-то другое. Он забрал кургузый дробовик из укрытия под мостом и перешел через ручей обратно к мотоциклу. Убьет он дальше по тропе.

* * *

Она приказала Муттеру принести следующий ящик на третий этаж. Он подчинился без охоты и пытел, потел и спотыкался на каждом повороте лестницы. В пункте назначения она велела вскрыть ящик и уйти. Зигмунд подчинился беспрекословно, хотя в руки и впились спорые разъяренные занозы.

Она убрала деревянную стружку и прочий упаковочный материал и заглянула в коробку. Внутри по трафарету было написано: «Урок 315: Песни насекомых». В ящике плотно угнездились сорок банок с завернутыми крышками; инструкций не прилагалось. Гертруда опасно вынула один из контейнеров и подняла на просвет. В крышке были пробиты маленькие отверстия для воздуха, напечатана буква «J». Внутри содрогался элегантный черенок, который

обнял толстый коричневый сверчок. Она стала доставать все банки, расставляя в алфавитном порядке на обеденном столе. После «Z» буквы удваивались: «AA», «BB», «CC».

Внутри стеклянных тюрем цвиркали существа всех видов. Внезапно – словно по неведомой команде – они как один застрекотали и зазвенели, их растущие голоса протискивались в жестяные дырочки и вибрировали стекло, пока комната не стала переливаться от сонической красоты. Гертруда впала в транс, заломив руки в жесте спонтанного удовольствия. Измаил следил за ней, ожидая начала урока. Муттер внизу услышал, как ожил третий этаж, покачал головой и раскурил сигару.

Гертруда попыталась объяснить содержимое банок, но скоро обнаружила, что понятия не имеет, о чем говорить. Она кое-как пробралась через первые девять, пока не кончились слова. Она спросила ученика, что он думает. Тот пусто уставился.

– А что мне думать? – спросил он изумленно. – Что это, каково их место?

Она покраснела в своем невежестве и съежилась от неудачи.

Многие из последовавших ящиков были еще более таинственными, лишали дара речи еще до того, как упаковочный материал покидал руки. Спасение пришло с переменой настроения в Измаиле. Он решил оставить свой статус вздорного студента и милостиво слушал, без злопамятности, ранее заливавшей его голод по знаниям. Она действительно обладала опытом жизни в мире снаружи, но у него имелся острый ум для изучения представленных фактов без того, чтобы известная функция слепила их потенциал. Он пытался учиться по ее методу – размышлять о содержимом ящиков и приходить к выводу, основанному на вкладе их обоих.

Так они начали открывать ящики вместе, с новообретенным рвением и – как она верила – с растущей волной взаимоуважения. Это стало отдельным удовольствием: предвкушение, сложение смыслов, гадания. Он становился легче в движениях и речи, углы и грани его предыдущих маньеризмов сглаживались до более мягких, более естественных порядков.

Так проходили недели, пока одним днем, когда они возбужденно изучали текстуру и крепость разных видов кожи, он не спросил:

– Когда мы будем практиковать спаривание?

Она понадеялась, что ослышалась.

– Что ты имеешь в виду? – спросила она с опаской.

– Когда мне можно вложить свою мужскую трубку в твою расщелину? Для удовольствия и практики?

Она зарделась и растеряла слова, ее руки зажали замшу. Она потупила глаза и с удивлением заметила, что его штаны уже расстегнуты и зияют.

– Прошло много времени, и мне этого не хватает.

– Этому не бывать, – прошипела она. – Это неестественно и непристойно. – Она собиралась объяснить моральный кодекс и потенциальные генетические катастрофы, когда его слова наконец дошли до ее понимания. – Когда ты этим уже занимался? – медленно спросила она. – И с кем? – Не успели еще слова сорваться с языка, как она знала ответ, его картина формировалась в далеких уголках разума.

– С Лулувой, – сказал он. – Много раз.

Шок потряс самым странным способом. В рот проник неизвестный привкус; спину пробила дрожь, и ее захватило чувство, что она где-то далеко-далеко, что сама она крохотная, а ее тело распухло, расширилось до размера континента. Глаза залило колышущимся краем обморока, в ее ускоряющемся отдалении все вокруг стало периферийным. А хуже всего, что в этом океане отвращения, страха и омерзения трепетал восторг – на далеком острове, на другой стороне мира: в ее утробе.

Прошло два дня, прежде чем она смогла заставить себя вернуться. Она сама не знала, как сбежала тем днем; память промыло, чтобы освободить место для воображения. В черепе теснился образ их порочной пары – в головную кость упирались локти, колени и пятки. Когда

она открыла дверь, он стоял у ставней, колупал краску. Он тут же обернулся и нервно заговорил. Она приложила палец к губам.

– Молчи, – сказала она. – Молчи.

Она подошла к нему, взяла его поднятую руку от ставней и крепко сжала в своей. Тихо провела в примыкающую спальню, направила к кровати и расстегнула на себе длиннополый дождевик. Встала перед ним, голая и дрожащая. Он быстро разделся, путаясь в пуговицах, пока она сидела рядом. Избавившись от последнего предмета одежды, он положил руки ей на плечи и почувствовал ее дрожь. Его испугали мягкость и тепло, а ее трясло в возбуждении от неправильности, в страхе перед неизвестным и стремлении к несказанным уровням власти, которыми, она знала, впредь будет владеть. Он провел руками по ее телу, ощущая, как под пальцами наливаются изгибы. Все те же контуры, что и у Лулувы, но прохладная твердость первой учительницы никогда не двигалась под давлением его тела, ее жесткость была пределом его эротизма. Теперь же ему передавались жар и податливость; она была как он, и они в изощренной степени обменивались давлением. Пальцы коснулись внутренней стороны ее бедер, оставляя на них хлопья краски из-под ногтей. Когда он коснулся ее лобковых волос, их словно ударил разряд. Он опустил голову и заглянул глубоко в ее наготу. В бледном механизме его почти человечности провернулась неизведанная шестерня.

Они сношались два часа, сменяя позы и ракурсы, пока не достигли всех аспектов. Он заснул, оставаясь внутри, балансируя на ней своим весом. Она смотрела на его спину – на его дыхание. Он уменьшался из нее, оставляя на бедре, в тени своего тела, блестящий след. Его пенис был в форме спирали против часовой стрелки и, втягиваясь, вращался. В будущих сношениях она обнаружит, что с увлечением наблюдает за этим, но пока это движение оставалось скрытым и заявляло о себе щекочущим ощущением, из-за которого она поежилась, разбудив его из тотальной дремоты.

Гертруда впервые спала с другим. Она чувствовала усталость и оживленность. Крови не было – девственности она себя лишила очень давно. Она изучала келейные радости автоудовлетворения часами практики и пользовалась этими секретными актами, чтобы укреплять свои тайные помыслы. Она гордилась своей самодостаточностью, тем, как та возносила ее над обывательскими аппетитами. Этот день стал трещиной в ее сдержанности – той, за которой она будет следить с дотошной бережностью.

Измаил простерся на кровати, в экстазе и утешении от собственного удовольствия, впервые чувствуя, как на третьем этаже установилась его мужская власть. Когда она сдвинулась от него, он потянулся к ней, и только коснулся пальцами бедер, когда она схватила пальто и приготовилась уйти. Хотелось сказать что-нибудь теплое и благодарное, но не хватало языка. Под сердцем грела какая-то тонкая связь, и ему хотелось уметь гладить и успокаивать Гертруду этим нежным огнем. Она ушла, не освободившись от его мыслей, и заторопилась в ванную на втором этаже, где приготовила спринцовку с алкалиновыми солями.

* * *

Я чувствую себя так, словно спал, спал слишком долго. Мои сны – если это сны – всегда опережают приход дремы, ждут, чтобы их сюжет продолжал разворачивать их длину. Днем они постоянно ноют. Меня поражает их близость и моя отстраненность. Меня проглотил этот пятачок земли, куда путь прострочили предыдущие стрелы. Я не вижу лук – должно быть, он упал, лежит где-то в этом месте противоречий – здесь, где все пахнет снегом и светится влагой. Раньше ноги держались на земле, но теперь я без привязи, корни и жилы боли гложут мою надежду дурманными, смутными порывами. Меня стирает чувство знакомого – чувство, что мне уже знакомо это путешествие. Тропа стрел оставила меня пустым – таким же, как полуосвященный пейзаж вокруг.

Вот же она; там, в жухлой траве, проволоке и гнилой бумаге, она снова тянется к моей руке. Я слишком медлил в этом путешествии, меня соблазнили воздух и небо. Кровь еще не пролита, а история не может двигаться без этой смазки. Нужно порезать свет кровью, позволить Эсте выдохнуть и выгнуться в моей руке. Сегодня я отделию жизнь и проложу будущую дорогу величием. Довольно низин: на другой стороне великого леса лежат города, и я прожгу к ним путь. Она в моей руке, требует стрел и расстояния.

Я шлю первую синюю стрелу в вечер, навстречу первой звезде, поднявшейся над краем мира и засевшей среди далеких деревьев. Стрела украла цвет у bunga telang¹⁵, растущей на краю нашего огорода. Маленькие яркие цветки придали ей женский инстинкт, ласкающий изгиб дня, веля встать на этом месте и воспользоваться последним светом, чтобы выбрать направление на завтра. Так я и делаю, пока свежеет ветер, и его прохлада напоминает мне о сне, словно свист, ведущий к нетерпеливой истории.

* * *

Тонкой колонковой кисточкой он скорректировал момент смерти, увеличил крошечные ошибки и удалил их. После сосредоточенных трудов падающая лошадь будет идеальна.

Лошади направляли его жизнь и покалечили его путь. Он согласился на эту последнюю серию изображений, только чтобы убить лошадь. Много лет назад, когда его мозг пылал после того, как перевернулся дилижанс и голову переустроил твердый камень, столкнувшийся с черепом, он видел их все время – кони галопировали в головной боли, высекали железными копытами искры для дендритных запалов. Он видел, как они идут рысью, белеют, вращают бешеными глазами. Слышал, как они цокают, эхо дразнило безлюдные ночные улицы за окном больничной палаты. Они отмеряли начало и кончину Мейбриджа с равной ритмичной поступью. До аварии он был пуст – человек, наполненный паром, бесцельный и набожный, ищущий того места в мире, где приобретет вес и ценность. Запнувшись о невидимый корень, несущийся дилижанс взметнулся в воздух и раскололся, увеча и разливая изнутри жизни. Выжил один Мейбридж, выброшенный среди развороченного багажа и переломанных брыкающихся мустангов. Он вырезал себя из парусины, детское платье приклеилось к его голове, пока рядом кровь, млея, стекала с копыт, теперь бегущих по небу, пытаясь зацепиться за умирающие облака.

Суд присудил ему компенсацию для нового начала. На некоторых бумагах он снова сменил имя – под стать сбоям и извращениям в новом мозгу. Его до краев переполняло существование, и это ему нравилось. Мейбридж уже начинал пользоваться известностью, когда обратился к врачу в Англии. Теперь восходящему светилу искусства и науки подобало только лучшее.

Их первая консультация состоялась в больнице у реки, рядом с Лондонским мостом. Мейбридж пришел заранее: так было всегда. Он порицал нерасторопность и гиперкомпенсировал в каждом аспекте жизни. Репетировал самые тривиальные дела: готовился к малостям заранее; держал в руках ключ за четыре улицы от дома; говорил под нос, чтобы иметь убедительный ответ на вопросы, которые так и не поставят. Он заставил себя остановиться на мосту, чтобы медлительность самого времени нагнала его скорость. Уперевшись руками в шершавый камень, он взглянул на бурную деятельность в Лондонском Пуле; грузовые корабли швартовались вдоль берегов в три ряда; их мачты скрипели на фоне колючего леса кранов и новой вертикальности – дыма пароходов, тянувшегося выше зданий, по-крабы цеплявшихся за землю; десятки барж самодовольно толкались и коробили друг друга в беспокойных волнах и кильватере торговли; туда-сюда сновали сотни мелких суденышек, перевозили лощманов, пассажи-

¹⁵ Растение клитория тройчатая (индонез.).

ров и сведения. Везде поверхность бурлила и щетинилась рабочими; стивидоры и лихтерщики ворочали тонны товаров и обменивались грузами, как будто в беспрестанной сумятице.

Временами реку вовсе не было видно. Обширная деятельность душила ее, а мусор, порожденный людской суетой, превращался в грубый плетеный ковер, вздымавшийся над скрытым волнением. Не верилось, что это та же река, что столь нежно текла через родной город Мейбриджа. В Кингстоне ее широкая рябь дарила отражение и красоту, служила для рыбалки, катания на лодках и созерцания. Там можно было ощутить жизнь Темзы. Деготь, дым, отходы и близость Биллингсгейта придавали отрезку перед ним совсем другое ощущение.

Он достал из кармана большие часы и со щелчком раскрыл. Часы – то единственное от семьи, что он хранил при себе в дороге; их подарили, чтобы облегчить его отъезд и помочь совладать хотя бы с одним измерением в заморских колониях. Он прищурился на римские цифры. Время наконец наверстало его, и он бодро двинулся на сURREЙСКУЮ сторону.

Уильям Уитни Галл работал по графику. Его смотровой кабинет засел высоко во лбу здания, глядя на реку. Из эркерного окна можно было увидеть шпиль Саутворкского собора и купол Святого Павла.

Как и они, эти двое мужчин были почти карикатурными противоположностями друг друга: Галл – тучный, плотный, лощеный; человек приземленный и владеющий своей жизнью; он сохранил кости своей трудовой семьи и обуздывал их хорошей, но простой одеждой; растущее величие носил с насыщенной весомостью. Мейбридж – сухой и поджарый, тоска в шелухе сомнений; сохмурившийся до библейского статуса; нервный, мятущийся и больной.

Они пожали руки, смерив друг друга взглядами. Мейбридж сел и приступил к повести о своей истории болезни; состоянии черепа со времен аварии, сдвигах восприятия. Галл стоял позади, изучая голову взбудораженного посетителя, чувствуя, как под скальпом реверберируют слова. Охватил чашу затылочного выступа и сдвигал ладонь, пока не нашел хребет брегмы, высшей кости. Ощупал венечный шов, чувствуя напряжение под своим управляемым давлением. Из-за этого движения квадратных рук под длинными спутанными волосами речь казалась причудливым номером чревоуказания; Галл перешел дальше, чтобы определить смещение или рассечение в носолобном шве. Затем сел за свой юрский стол и принялся конспектировать наблюдения.

– Силу удара приняло ваше лицо?

Пациент поднял руку и накрыл глаза и лоб.

– Здесь, – сказал он.

– Ответьте, – сказал хирург, – когда вы пришли в себя после крушения, что почувствовали? Какие сенсорные образы запомнились?

– Я почуял корицу, и несколько дней все расплывалось в глазах, как от двукратной экспозиции, – рука щупала шрам, где в тот ужасный день выглянула кость. – Корица и горелая кожа; немота в руках; и лошадь. Я лежал на земле рядом с одной из умирающих лошадей, глядел на нее, упавшую навзничь, на ползучее наложение множества тел, множества вытянутых ног. Я не знал, кто из нас вверх ногами.

– Как спится?

– Скверно. Иногда не сплю вовсе.

Не удивленный ответом, Галл кивнул и внес пометку в открытую тетрадь на столе.

– Это плохой симптом? – спросил Мейбридж.

– Нет, не для вас. Сон – сложная материя, телу нужен всего час. Но разум просит большего, и потому порой вовлекается душа, и с жадностью.

– Не уверен, что понимаю, доктор Галл, – но прежде, чем Мейбридж настоял на разъяснении, Галл закрыл вопрос и продолжил в ином направлении.

Вопросы длились двадцать минут. Затем хирург подошел к одному из шкафов со стеклянной дверцей и взял изнутри инструмент. Аккуратно развернул его часовые механизмы и закрепил на голове пациента. Приспособление было сделано из латуни и стекла, с деликатным набором складных наглазников и зеркалец, из них несколько затененных гальванизацией. Хирург подтянул стул лицом к пациенту и поправил металлические диски, подводя ближе к встревоженным глазам Мейбриджа. Над устройством работали обе руки, а лица доктора и пациента так сблизились, что они чувствовали запах дыхания друг друга. Поправки оглашались тихими храповыми щелчками.

– Это перифероскоп, – объяснил хирург. – Вам, ученому от мира оптики, он будет интересен. – Затем он сдвинул свой стул и физически повернул голову пациента к эркеру, закрепив зажимы на шее и подбородке. – Прямо как с вашими фотографическими портретами, – сказал Галл любезно. – Теперь извольте смотреть в центральную панель окна и сосредоточиться на куполе.

Пациент хотел поправить насчет старомодных портретов, где модель помещали в металлические копфгалтеры, чтобы она оставалась неподвижной, пока медлительная камера собирает изображение посмертного вида. Мейбридж давно избавился от подобных искусственных ухищрений. Он объяснит свои эксперименты с химической подготовкой пленки, он...

– На купол, пожалуйста! – потребовал хирург. Средний лист стекла отличался от остальных – был яснее, отливал зеленоватым. В его ярких пределах обрамлялся далекий купол. Пациент подчинился. – Теперь, пожалуйста, не двигайтесь, только смотрите на купол.

Это были последние слова хирурга, после чего он обошел с одной стороны на другую – за пациента. Коснулся аппарата, активируя вращающиеся диски и мелкие отражения света – почти невидимые, как солнца и луны далеких планет, что прятались в нестабильной тьме, таящейся в уголках глаз пациента. Ночь, переливавшаяся бесконечным пространством, притянула частицы света изнутри его зрения, из его окружения – даже из сияющего купола. Снаружи менялось время, и волна бурлящей реки уже устремилась обратно к морю. Что-то между двойным куполом затрепетало и сдвинулось в унисон.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.